

Николай Лесков

# Обойдённыe



Николай Лесков

**Обойдѣнные**

«Public Domain»

1865

**Лесков Н. С.**

Обойдённые / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1865

# Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	8
Глава третья	16
Глава четвертая	32
Глава пятая	36
Глава шестая	39
Глава седьмая	42
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# Николай Лесков

## Обойдённые

### Часть первая

#### Глава первая

#### Крючок падает в воду

Этот русский роман начался в Париже и вдобавок в самом приличном, самом историческом здании Парижа – в Лувре. В двенадцать часов ясного зимнего дня картинные галереи Лувра были залиты сплошной и очень пестрою толпою доброго французского народа. Зала мурилевской Мадонны была непроходима; на зеленых бархатных диванах круглой залы тоже не было ни одного свободного места. Только в первой зале, где слабые нервы поражаются ужасной картиной потопа, и другою, не менее ужасной картиной предательского убийства – было просторнее. Здесь, перед картиной, изображающей юношу и аскета, погребавших в пустыне молодую красавицу, тихо прижавшись к стене, стоял господин лет тридцати, с очень кротким, немного грустным и очень выразительным, даже, можно сказать, с очень красивым лицом. Закинутые назад волнистые каштановые волосы этого господина придавали его лицу что-то такое, по чему у нас в России отличают художников. С первого взгляда было очень трудно определить национальность этого человека, но, во всяком случае, лицо его не рисовалось тонкими чертами романской расы и скорее всего могло напомнить собою одушевленные типы славянского юга.

В трех шагах от этого незнакомца, прислонясь слегка плечиком к высокому табурету, на котором молча работала копировщица, так же тихо и задумчиво стояла молодая восхитительной красоты девушка, с золотисто-красными волосами, рассыпавшимися около самой милой головки. Эта стройная девушка скорее напоминала собою заблудившуюся к людям ундину или никсу, чем живую женщину, способную считать франки и сантимы или вести домашнюю свару. Наряд этой девушки был прост до последней степени; видно было, что он нисколько не занимал ее больше, чем наряд должен занимать человека: он был очень опрятен и над ним нельзя было рассмеяться.

– Насмотрелась? – произнес по-русски тихий женский голос сзади ниссы.

Молодая девушка не шевельнулась и не ответила ни слова.

– Я уже два раза обошла все залы, а ты все сидишь; пойдём, Дора! – позвал через несколько секунд тот же голос.

Этот голос принадлежал молодой женщине, тоже прекрасной, но составляющей резкий контраст с воздушной Дорой. Это была женщина земная: высокая, стройная, с роскошными круглыми формами, с большими черными глазами, умно и страстно смотрящими сквозь густые ресницы, и до синевы черными волосами, изящно оттеняющими высокий мраморный лоб и бледное лицо, которое могло много рассказать о борьбе воли со страстями и страданиями.

Девушка привстала с приножка высокого табурета художницы, поблагодарила ее за позволение посидеть и сказала:

– Да, я опять расфантазировалась.

– И что тебе так нравится в этой картине? – спросила брюнетка.

– Вот поди же! Мне, знаешь, с некоторого времени кажется, что эта картина имеет не один прямой смысл: старость и молодость хоронят свои любимые радости. Смотри, как грустна

и тяжела безрадостная старость, но в безрадостной молодости есть что-то жасное, что-то... проклятое просто. Всмотрись, пожалуйста, Аня, в эту падающую голову.

– Ты везде увидишь то, чего нет и чего никто не видит, – отвечала брюнетка с самой доброй улыбкой.

– Да, *чего никто не хочет видеть*, это может быть, но не то, чего вовсе нет. Хочешь, я спрошу вот этого шута, что его занимает в этой картине? Он тут еще прежде меня прилип.

Та, которая называлась Анею, покачала с упреком головою и произнесла:

– Тсс!

– Сделай милость, успокойся, не забывай, что он ничего этого не понимает.

Дамы вышли налево; молчаливый господин посмотрел им вслед, весело улыбнулся и тоже вышел. Они еще раз встретились внизу, получая свои зонтики, взглянули друг на друга и разошлись.

Через две недели после этой встречи известный нам человек стоял, с маленькой карточкой в руках, у дверей омнибусного бюро, близ св. Магдалины. На дворе был дождь и резкий зимний ветер – самая неприятная погода в Париже. Из-за угла Магдалины показался высокий желтый омнибус, на империале которого не было ни одного свободного места.

– Начинается номер седьмой! – крикнул кондуктор.

Наш луврский знакомый подал свою карточку, вспрыгнул в карету, и полный экипаж тронулся снова, оставив все дальнейшие номера дрогнуть на тротуаре или греться около раскаленных железных печек бесприютного бюро.

В карете, *vis-a-vis*<sup>1</sup> против нового пассажира, сидели две дамы, из которых одна была закрыта густым черным вуалем, а в другой он тотчас же узнал луврскую ундину; только она теперь казалась раздраженной и даже сердитой. Она сдвигала бровями, кусала свои губки и упорно смотрела в заднее окно, где на сером дождевом фоне мелькала козлиная фигурка кондуктора в синем кепи и безобразных вязаных нарукавниках, изобретение которых, к стыду великой германской нации, приписывается добродетельным немцам. Дама, закрытая вуалем, плакала. Хотя густой вуаль и не позволял видеть ни ее глаз, ни ее лица, а сама она старалась скрыть свои слезы, но их предательски выдавало судорожное вздрагиванье неповиновавшихся ее воле плеч. При каждом таком, впрочем, едва приметном движении Дора еще пуще сдвигала брови и сердитее смотрела на стоящую в воздухе мокрядь.

– Это, наконец, глупо, сестра! – сказала она, не вытерпев, когда дама, закрытая вуалем, не удержалась и неосторожно всхлинула.

Та молча пронесла под вуаль мокрый от слез платок и, видимо, хотела заставить себя успокоиться.

– Неужто и после этих неслыханных оскорблений в тебе еще живет какая-нибудь глупая любовь к этому негодяю! – сердито проговорила Дора.

– Оставь, пожалуйста, – тихо отвечала дама в вуале.

– Нет, тебя надо ругать: ты только тогда и образумливаешься, когда тебя хорошенько выбранишь.

– Извините, пожалуйста, – отнесся к ундине пассажир, севший у Магдалины, – я считаю нужным сказать, что я знаю по-русски.

Дама, закрытая вуалем, сделала едва заметное движение головою, а Дора сначала вспыхнула до самых ушей, но через минуту улыбнулась и, отворотясь, стала глядеть из-за плеча сестры на улицу. По легкому, едва заметному движению щеки можно было догадаться, что она смеется.

Совершенно опустевший омнибус остановился у Одеона. Пассажир от св. Магдалины посмотрел вслед Доре с ее сестрою. Они вошли в ворота Люксембургского сада. Пассажир

---

<sup>1</sup> Лицом к лицу (Франц.)

встал последний и, выходя, поднял распечатанное письмо с московским почтовым штемпелем. Письмо было адресовано в Париж, госпоже Прохоровой, *poste restante*.<sup>2</sup> Он взял это письмо и бегом бросился по прямой аллее Люксембургского сада.

– Не обронили ли вы чего-нибудь? – спросил он, догнав Дору и ее сестру.

Последняя быстро опустила руку в карман и сказала:

– Боже мой! Что я сделала? Я потеряла письмо и мой вексель.

– Вот ваше письмо, и посмотрите, может быть, здесь же и ваш вексель, – отвечал господин, подавая поднятый конверт.

Вексель действительно оказался в конверте, и господин, доставивший дамам эту находку, уже хотел спокойно откланяться, как та, которая напоминала собою ундину или никсу, застенчиво спросила его:

– Скажите, пожалуйста, вы русский?

– Я русский-с, – отвечал незнакомец.

– Скажите, пожалуйста, какая досада!

– Что я русский?

– Именно. Я этого никак не ожидала, и вы меня, пожалуйста, простите, – проговорила она серьезно и протянула ручку. – Сама судьба хотела, чтоб я просила у вас извинения за мою ветренность, и я его прошу у вас.

– Извините, я не знаю, чем вы меня оскорбили.

– Недели две назад, в Лувре... Помните теперь?

– Назвали меня что-то шутком, или дураком, кажется?

– Да, что-то в этом вкусе, – отвечала, краснея, смеясь и тряся его руку, ундина. – Позволяю вам за это десять раз назвать меня дурой и шутихой. Меня зовут Дарья Михайловна Прохорова, а это – моя старшая сестра Анна Михайловна, тоже Прохорова: обе принадлежим к одному гербу и роду.

– Мое имя Нестор Долинский, – отвечал незнакомый господин, кланяясь и приподнимая шляпу.

– А как вас по батюшке?

– Нестор Игнатьевич, – пояснил Долинский.

– Отлично! Вы, Нестор Игнатьевич, веселитесь или скучаете?

– Скорее скучаю.

– Бесподобно! Мы живем два шага от сада, вот сейчас номер десятый, и у нас есть свой самовар. Пожалуйста, докажите, что вы не сердитесь, и приходите к нам пить чай.

– Очень рад, – отвечал Долинский.

– Пожалуйста, приходите, – упрашивала девушка. – Кроме гадких французов, ровно никого не увидишь – просто несносно.

– Пожалуйста, заходите, – попросила для порядка Анна Михайловна.

– Непременно зайду, – отвечал Долинский и повернул назад к Латинскому кварталу.

---

<sup>2</sup> До востребования (*Франц.*)

## Глава вторая

### Небольшая история, случившаяся до начала этого романа

У каждого из трех лиц, с которыми мы встречаемся на первых страницах этого романа, есть своя небольшая история, которую читателю не мешает знать. Начнем с истории наших двух дам.

Анна Михайловна и Дорушка, как мы уже знаем из собственных слов последней, принадлежали к одному гербу: первая была дочерью кучера княгини Сурской, а вторая, родившаяся пять лет спустя после смерти отца своей сестры, могла считать себя безошибочно только дитем своей матери. Княгиня Ирина Васильевна Сурская, о которой необходимо вспоминать, рассказывая эту историю, была барыня старого покроя. Доводилась она как-то сродни князю Потемкину-Таврическому; куртизанила в свое время на стоящих выше всякого описания его вельможеских пирах; имела какой-то роман, из рода романов, отличавших тогдашнюю распудренную эпоху северной Пальмиры, и, наконец, вышла замуж за князя Аггея Лукича Сурского, человека старого, не безобразного, но страшного с виду и еще более страшного по характеру. До своей женитьбы на княжне Ирине Васильевне князь Сурский был вдов, имел двенадцатилетнюю дочь от первого брака, и самому ему было уже лет под шестьдесят, когда он решился осчастливить своею рукою двадцатитрехлетнюю Ирину Васильевну и посватался за нее через светлейшего покорителя Тавриды. Впрочем, князь Сурский был еще свеж и бодр; как истый аристократ, он не позволял себе дряхлеть и разрушаться раньше времени, назначенного для его окончательной сломки; кафтаны его всегда были ловко подхвачены, волосы выкрашены, лицо реставрировано всеми известными в то время косметическими средствами. Но, разумеется, не этот достаток сил и жизни продиктовал крепкому старику мысль жениться на двадцатитрехлетней княжне Ирине Васильевне. Княжна не обещала много интереса для его чувствительной любознательности, и князь вовсе не желал быть Раулем-Синей бородой. Дело было гораздо проще. Князь был богат, знатен и честолюбив; ему хотелось во что бы то ни стало породниться с Таврическим, и княжна Ирина Васильевна была избрана средством для достижения этой цели. Совершилась пышная свадьба, к которой Ирину Васильевну, как просвещенную девицу, не нужно было нимало склонять, ни приневоливать; стала княжна Ирина Васильевна называться княгиней Сурскою, а князь Сурский немножко еще выше приподнял свое беломраморное чело и отрачивал розовые ногти на своих длинных тонких пальцах. Но вдруг коловратное время переменяло козырь и так перетасовало колоду, что князь Сурский, несмотря на родство с Таврическим, был несказанно рад, попав при этой перетасовке не далее своей степной деревни в одной из низовых губерний. Здесь, в стороне от всякого шума, вдали от далекого, упоительного света, очутилась княгиня Ирина Васильевна с перспективой здесь же протянуть долгие-долгие годы. А в двадцать четыре года жизнь так хороша, и жить так хочется, даже и за старым мужем... может быть, даже особенно за старым мужем...

Князь Сурский в деревне явился совершенно другим человеком, чем был в столице. Его мягкие, великосветские манеры, отличавшие вельмож екатерининского времени, в степном селе уступили место неудержимой резкости и порывистости. Широкие и смелые замыслы и планы князя рухнули; рамки его сузились до мелкой придирчивости, до тирании, от которой в доме страдали все, начиная от маленького поваренка на кухне до самой молодой княгини, в ее образной и опочивальне. Князь мстил за свое унижение людям, которые при тогдашних обстоятельствах не могли ничего поставить в свою защиту. Молодая княгиня не находилась, как ей вести себя в ее печальном положении и какой методы держаться со своим грозным и неприступным мужем.

Через полгода после переезда их в деревню княгиня Ирина Васильевна родила сына, которого назвали в честь деда Лукою. Рождение этого ребенка имело весьма благотворное, но

самое непродолжительное влияние на крутой нрав князя. На первых порах он велел выкатить крестьянам несколько бочек пенного вина, пожаловал по рублю всем дворовым, барски одарил бедный сельский причт за его услышанные молитвы, а на колокольне велел держать трехдневный звон. Робкий, запуганный и задавленный нуждою священник не смел ослушаться княжеского приказа, и с приходской колокольни три дня сряду торжественнейшим звоном возвещалось миру рождение юного княжича. Но не прошло со дня этого великого события какой-нибудь одной недели, как старик начал опять раздражаться. В целой губернии он не находил человека, достойного быть приемником его новорожденного сына, и, наконец, решил крестить *сам!* При всем своем смирении перед грозным вельможей сельский священник отказался исполнить эту княжескую прихоть. Князь бесновался, бесновался, наконец один раз, грозный и мрачный как градовая туча, вышел из дома, взял за ворот зипуна первого попавшегося ему навстречу мужика, молча привел его в дом, молча же поставил его к купели рядом со своей старшей дочерью и велел священнику крестить ребенка. Трепещущий священник совершил обряд.

– А теперь, любезный кум, – сказал князь, тотчас же после крещения, – вот тебе за твой труд по моей кумовской и княжеской милости тысяча рублей, завтра ты получишь отпускную, а послезавтра чтоб тебя, приятеля, и помину здесь не было, чтоб духу твоего здесь не пахло!

Оторопевший мужик повалился князю в ноги.

– Но помни, куманек, что если ты станешь жить так, что хоть какой-нибудь слух о тебе до меня дойдет, так я тебя, каналью... за ребро повешу!

Князь заскрипел зубами и сильно закачал за ворот своего кума.

Мужик опять упал ему в ноги, закричал:

– Милуйте, жалуйте! Милуйте, ваше сиятельство!

Приказание княжеское было исполнено в точности. Семья нечаянного приемника новорожденного княжича, потихоньку голоса и горестно причитывая, через день, оплаканная родственниками и свойственниками, выехала из родного села на доморощенных, косматых лошаденках и, гонимая страшным призраком грозного князя, потянулась от родных степей заволжских далеко-далеко к цветущей заднепровской Украине, к этой обетованной земле великорусского крепостного, убежавшего от своей горе-горькой жизни.

Потешив свой обычай, князь сделался еще свирепее. Дня не проходило, чтоб удары палками, розгами, охотничьими арапниками или кучерскими кнутьями не отсчитывались кому-нибудь сотнями, а случалось зачастую, что сам князь, собственной особой, присутствовал при исполнении этих жестоких истязаний и равнодушно чистил во время их свои розовые ногти. Народ трепетал и безмолвно-могильными тенями скользил около княжеских хором. С годами жестокость князя все усиливалась. В имении князя случалось, что один вешался, другой резался, третий бросался с высокой плотины в мутную вонючую воду тинистого, мелкого пруда. Имение князя стало местом всяческих ужасов; в народе говорили, что все эти утопленники и удавленники встают по ночам и бродят по князьим палатам, стона о своих душах, погибающих в вечном огне, уготованном самоубийцам. Эолова арфа, устроенная вверху большой башни княжеского дома, при малейшем ветерке наводила цепенящий ужас повсюду, куда достигали ее прихотливые звуки. Люди слышали в этих причудливых звуках стоны покойников, падали на колена, трясясь всем телом, молились за души умерших, молились за свои души, если бог не ниспошлет железного терпенья телу, и ждали своей последней минуты. Князь не изменялся. Он жил один, как владыка Морвены, никого не принимал и продолжал свирепствовать. Княгиня совершенно потерялась. Она ничего не умела предпринять: старалась только как можно реже оставлять свою комнату, начала много молиться и вся отдалась сыну.

Какая-то простодушная Коробочка того времени, наслушавшись столь много лестного об умении князя управляться с людишками, приползла к нему на подводишке просить вступить за нее, вдову беззащитную, поучить и ее людишек дисциплине и уму-разуму.

– Федька Лапоток кучером со мной приехал, – жаловалась Коробочка, – прикажи, государь-князь, хоть его поучить для острастки! Пусть приедет и расскажет, какой страх дается глупому народу, – молилась добравшаяся пред княжьи очи помещица.

Вместо того, чтобы оскорбиться, что его считают образцовым секуном, одичавший князь выслушал Коробочку, только слегка шевеля бровями, и велел ей ехать со своим Федькою Лапотком к конюшне. Больно высекли Лапотка, подняли отрезвоненного и посадили в уголок у двери.

– А ну-ка ее теперь, – спокойно буркнул князь, и прежде чем Коробочка успела что-нибудь понять и сообразить, ее разложили и пошли отзванивать в глазах князя и всего его холопства.

Знали Коробочкины людишки, что страшен, для всех страшен дом княжеский! Дерзость и своевластие князя забыли всякий предел. Князь разгневался на вывезенную им из Парижа гувернантку своей дочери и в припадке бешенства бросил в нее за столом тарелкой. Француженка вскипела:

– Я не крестьянка ваша; вы не смеете... – сказала ему она.

Князь, давно отвыкший от всякого возражения, побагровел:

– Не смею? Я не смею!.. – проговорил он, свистнул своих челядинцев и, без всякого стеснения, велел несчастную девушку высесть.

Гувернантка схватила со стола нож и подняла его к своему горлу; верные слуги схватили ее сзади за руки. Сопротивляться приказаниям князя никто не смел, да никто и не думал.

Упавшую в обморок гувернантку вырвали из рук молодой княжны, высекли ее в присутствии самого князя, а потом спеленали, как ребенка, в простыню и отнесли в ее комнату. Здесь держали ее спеленатою, пока зажили рубцы от розог, и, как ребенка же, кормили рожком и соской, а, наконец, когда следов наказания не было более заметно, ее со всеми ее пожитками отвезли на крестьянской подводе в ближайший город. Француженка обратилась к кому-то с жалобой, но ей посоветовали прекратить дело, так как в данном случае свои люди не могли быть свидетелями против князя. Могучий Орсал не повел ни усом, ни ухом: равнодушный, как вольтерьянец, к суду божескому, он знать не хотел ни о каком суде человеческом. По примеру наказанной француженки он вздумал высесть своего управителя, какого-то американского янки, и это было причиною собственной гибели князя. Янки не дался. Ко всеобщему ужасу, он смело открыл окно своего флигеля, окруженного княжескими людьми, красноречиво выставил перед собою два заряженных пистолета, пробежал никем не тронутый через оторопевшую толпу ликторов и, вскочив на стоявшую у коновязи оседланную лошадь земского, понесся на ней во всю мочь к городу. Посланная погоня, угрожаемая убедительными поворотами пистолетов беглеца, решила оставить опасную погоню и вернулась с пустыми руками.

Князь задыхался от ярости. Перед крыльцом и на конюшне наказывали гонцов и других людей, виновных в упуске из рук дерзкого янки, а князь, как дикий зверь, с пеною у рта и красными глазами метался по своему кабинету. Он рвал на себе волосы, швырял и ломал вещи, ругался страшными словами.

Стоны, доносившиеся через окно до его слуха, только разжигали его бешенство.

Среди такого ужаса княгиня не выдержала и вошла к мужу.

– Князь! – позвала она тихо, остановившись у порога.

Возле княгини, тут же на пороге, стоял отворивший ей дверь, весь бледный от страха, любимый доезжачий князя, восемнадцатилетний мальчик Михайлушка, которого местная хроника шепотом называла хотя незаконным, но тем не менее, несомненно, родным сыном князя.

– А! Что! Кто вас звал? Кто вас пустил сюда? – закричал, трясясь и топая, старик.

– Я сама пришла, князь; я ваша жена, кто же меня смеет не пустить к вам?

– Вон! Сейчас вон отсюда! – бешено заорал безумный князь и забарабанил кулаками.

– Князь! Вы опомнитесь – Сибирь...

Княгиня не успела договорить своей тихой речи, как тяжелая малахитовая щетка взвилась со стола, у которого стоял князь, и молодой Михайлушка, зорко следивший за движениями своего грозного владыки, тяжело грохнулся к ногам княгини, защитив ее собственным телом от направленного в ее голову смертельного удара.

Князь закачался на ногах и повалился на пол. Бешеным зверем покотился он по мягкому ковру; из его опененных и посиневших губ вылетало какое-то зверское рычание; все мускулы на его багровом лице тряслись и подергивались; красные глаза выступали из своих орбит, а зубы судорожно схватывали и теребили ковровую покрывку. Все, что отличает человека от кровожадного зверя, было чуждо в эту минуту беснующемуся князю, сама слюна его, вероятно, имела все ядовитые свойства слюны разъяренного до бешенства зверя.

Княгиня спросила через порог воды и пошла со стаканом к мужу.

«Рррбуу», – рычал князь, закусив ковер и глядя на жену столбенеющими глазами; лицо его из багрового цвета стало переходить в синий, потом бледно-синий; пенистая слюна оставалась, и рычание стихло. Смертельный апоплексический удар разом положил конец ударам арапников, свиставших по приказанию скоропостижно умершего князя.

Бежавший княжеский управитель умел заставить проснуться тяжелые на подъем губернские власти; но суд божеский освободил суд людской от обязанности карать преступление опального вельможи. Спешно прибывшая из города комиссия застала князя на столе и откушала на его погребении.

Ни в чем не повинная княгиня Ирина Васильевна осталась в имении, которое должны были наследовать ее сын и падчерица. Она не вмешивалась в управление приставленного опекуна, целый ряд лет никуда не выезжала, молилась, старилась, начинала чудить и год от года все становилась страннее и страннее. Михайлушку, которого молодая, хотя и весьма нежная натура вынесла жестокий удар, назначавшийся княгине, она считала своим спасителем и пристрастилась к нему всею душою. Михайлушка на всю жизнь остался немножко глухим, и эта глухота постоянно не позволяла княгине забывать об оказанной ей этим человеком услуге. Михайлушка сделался избраннейшим любимцем и *factotum*<sup>3</sup> стареющей в одиночестве княгини. Единственным ее развлечением, зимою и летом, было катанье по гладкой и ровной степи, но ко множеству развивавшихся в ней странностей она питала необоримую боязнь к лошадям и могла ездить только с Михайлушкой. Поэтому Михайлушка главным образом состоял выездным кучером при ее особе. С ним княгиня ездила спокойно, с ним она отправляла на своих лошадях в Москву в гимназию подростшего князя Луку Аггеича, с ним, наконец, отправила в Петербург к мужниной сестре подростшую падчерицу и вообще была твердо уверена, что где только есть ее Михайлинька, оттуда далеки все опасности и невзгоды. Грязные языки, развязавшиеся после смерти страшного князя и не знавшие истории малахитовой щетки, сочиняли насчет привязанности княгини к Михайлушке разные небывалые вещи и не хотели просто понять ее слепой привязанности к этому человеку, спасшему некогда ее жизнь и ныне платившему ей за ее доверие самую страстную, рабской преданностью.

Когда Михайлиньке минуло двадцать шесть лет, княгиня вздумала женить своего фаворита и, не откладывая этого дела в дальний ящик, обвенчала его с писаной красавицей, сенной девушкой Феней. Пять лет у молодого супружества не было детей, а потом явилась дочь Аннушка, и вслед за тем Михайлинька умер от простуды, поручив свою дочь и жену заботам и милостям совершенно состарившейся княгини. Княгиня старалась как можно добросовестнее выполнить предсмертную просьбу своего любимца. Вдова его получала удобную квартиру и полное содержание, а маленькая Аня со второго же года была совсем взята в барский дом, и не только жила с княгинею, но даже и спала с нею в одной комнате. В это время молодой князь Лука Аггеич счастливо женился, получил место по дипломатическому корпусу и собирался за

---

<sup>3</sup> Доверенное лицо (лат)

границу. Он приехал к матери с женою и трехлетним сыном Кириллом. Одинокая старушка еще более сиротела, отпуская сына в чужие края; князю тоже было жалко покинуть мать, и он уговорил ее ехать вместе в Париж. Княгине жалко было и деревни, но все-таки она не захотела расстаться с сыном, и все семейство тронулось за границу. Аню княгиня, к крайнему прискорбию ее матери, тоже увезла с собою. Через два года княгиню посетило новое горе: ее сын с невесткой умерли друг за другом в течение одной недели, и осиротелая, древняя старушка снова осталась и воспитательницей и главной опекуншей малолетнего внука.

Княгиня Ирина Васильевна в это время уже была очень стара; лета и горе брали свое, и воспитание внука ей было вовсе не по силам. Однако делать было нечего. Точно так же, как она некогда неподвижно оселась в деревне, теперь она засела в Париже и вовсе не помышляла о возвращении в Россию. Одна мысль о каких бы то ни было сборах заставляла ее трястись и пугаться. «Пусть доживу мой век, как живется», – говорила она и страшно не любила людей, которые напоминали ей о каких бы то ни было переменах в ее жизни.

Внука она отдала в один из лучших парижских пансионеров, а к Ане пригласила учителей и жила в полной уверенности, что она воспитывает детей как нельзя лучше.

Дети росли, княгиня старилась и стала быстро подаваться к гробу.

Восемнадцатилетний князь Кирилла Лукич смотрел молодцом, хотя и французом, Аня расцвела пышною розой.

Кроме того, чему Аню учили французские учителя и дьячок русской посольской церкви, она немало сделала для себя и сама. Старая княгиня не могла иметь сильного влияния на всестороннее развитие девушки. Она учила ее верить в верховную опеку промысла; старалась передать ей небольшой запас сухих правил, заменявших для нее самой весь нравственный кодекс; любовалась красотой ее лица, очаровательною грацией стана, изяществом манер, и более ничего. Анна Михайловна сама додумалась, что положение ее в доме княгини фальшивое, что ей нужно самой обставить себя совсем иначе и что на заботы княгини во всем полагаться нельзя. Анна Михайловна была существо самое кроткое, нежное сердцем, честное до болезненности и беспредельно доверчивое. Начитавшись романтических писателей французской романтической школы, она сама очень порядочно страдала романтизмом, но при всем том она, однако, понимала свое положение и хотела смотреть в свое будущее не сквозь розовую призму. О семье своей Анна Михайловна знала очень мало. С тех пор, как ее маленьким дитятей вывезли за границу, раз в год, когда княгиня получала из имения бумаги, прочитывая управительские отчеты, она обыкновенно говорила: «Твоя мать, Аня, здорова», и тем ограничивались сведения Ани о ее матери.

Когда девочке было шесть лет, княгиня, читая вновь полученный ею отчет, сказала: «Твоя мать, Аня, здорова, и...», и на этом и княгиня поперхнулась.

– И у тебя, Аня, родилась сестрица, – добавила она через несколько времени с досадою и вместе с таким удивлением, как будто хотела сказать: что это еще за моду такую глупую выдумали!

А Аня была необыкновенно как рада, что у нее есть сестрица.

– Маленькая? – спрашивала она у княгини.

– Очень, мой друг, маленькая, и зовут ее Дорушкой, – отвечала княгиня.

Аня так и запрыгала от этой радостной вести.

– Ах, какая это должна быть прелесть – эта Дорушка! – размышляла девочка целый день до вечера.

Ночью сквозь сон ей слышалось, что княгиня как будто дурно говорила о ее матери с своею старой горничной; будто упрекала ее в чем-то против Михайлиньки, сердилась и обещала немедленно велеть рассчитать молодого, белокурого швейцарца Траппа, управлявшего в селе заведенной князем ковровой фабрикой. Аня решительно не понимала, чем ее мать оскорбила покойного Михайлушку и зачем тут при этой смете приходился белокурый швейцарец

Трапп; она только радовалась, что у нее есть очень маленькая сестрица, которую, верно, можно купать, пеленать, нянчить и производить над ней другие подобные интересные операции. Через год еще—княгиня сказала:

– Ты, Аня, будь умница – не плачь: твоя мать, мой дружок, умерла.

– Умерла! – закричала Аня.

– Давно, мой друг, не плачь, не теперь, она давно уж умерла.

Аня все-таки горько плакала.

– А сестрица моя? – спрашивала она княгиню.

– Я велю, дружок, твою сестрицу прибрать; велю, чтоб ей хорошо было, – успокаивала княгиня.

Аня утешалась, что ее маленькой сестрице будет хорошо.

А между тем время работало свою работу. Маленькая сестрица Ани, взятая из сострадания очень доброю и просвещенною женою нового управителя, подросла, выучилась писать и прислала сестре очень милое детское письмо.

Между сестрами завязалась живая переписка: Аня заочно пристрастилась к Дорушке; та ей взаимно, из своей степной глуши, платила самой горячей любовью. Преобладающим стремлением девочек стало страстное желание увидаться друг с другом. Княгиня и слышать не хотела о том, чтобы отпустить шестнадцатилетнюю Аню из Парижа в какую-то глухую степную деревню.

– После моей смерти ступай куда хочешь, а при мне не делай глупостей, – говорила она Анне Михайловне, не замечая, что та в ее-то именно присутствии и делает самую высшую глупость из всех глупостей, которые она могла бы сделать.

Анна Михайловна, не выдавшая ни одного мужчины, кроме своих учителей и двух или трех старых роялистских генералов, изредка навещавших княгиню, со всею теплотою и детскою доверчивостью своей натуры привязывалась к князю Кириллу Лукичу. Князь Кирилл, выросший во французской школе и пропитанный французскими понятиями о чести вообще и о честности по отношению к женщине в особенности, называл Аню своей хорошенькой кузиной и был к ней добр и предупредителен. Ане всегда очень нравилось внимание князя; ей с ним было веселее и как-то лучше, приятнее, чем со старушкой княгиней и ее французскими роялистскими генералами или с дьячком русской посольской церкви. Молодые люди вместе гуляли, катались, ездили за город; княгиня все это находила весьма приличным и естественным, но ей показалось совершенно неестественным, когда Аня, сидя один раз за чаем, вдруг тихо вскрикнула, побледнела и откинулась на спинку кресла.

Анна Михайловна не умела скрыть от княгини своей беременности. Княгиня, впрочем, ни в чем не упрекала Анну Михайловну и только страшно сердилась на своего внука. Родилось дитя, его свезли и отдали на воспитание в небольшую деревеньку около Версаля. Прошло два месяца; Анна Михайловна оправилась, а княгиня заболела и умерла. Кончаясь, она вручила Анне Михайловне давно приготовленную вольную для нее и Доры, банковый билет в десять тысяч рублей ассигнациями и долговое обязательство в такую же сумму, подписанное еще покойным князем Лукою и вполне обязательное для его наследника.

Поведение князя Кирилла по отношению к Анне Михайловне было весьма неодобрительно, как французы говорят: он *поступил как мужчина*. Аня теперь ясно видела, что князь никогда не любил ее и что она была ни больше, ни меньше, как одна из тысячи жертв, преследование которых составляет приятную задачу праздной и пустой жизни князя. Анна Михайловна была обижена очень сильно, но ни в чем не упрекала князя и не мешала ему избегать с нею встреч, которыми он еще так недавно очень дорожил и которых так горячо всегда добивался. Она ненавидела князя. В ее нежной душе оставалось к нему то теплое, любовное чувство, которое иногда навсегда остается в сердцах многих хороших женщин к некогда любимым людям, которым они обязаны всеми своими несчастьями.

Анна Михайловна просила князя только наведываться по временам о ребенке, пока его можно будет перевезти в Россию, и тотчас после похорон старой княгини уехала в давно оставленное отечество.

Тут же она взяла из деревни Дорушку, увезла ее в Петербург, открыла очень хорошенький модный магазин и стала работать.

Личные впечатления, произведенные сестрами друг на друга, были самые выгодные. Дорушка не была так образована, как Анна Михайловна; она даже с великим трудом объяснялась по-французски, но была очень бойка, умна, искренна и необыкновенно понятлива. Благодаря внимательности и благоразумию бездетной и очень прямо смотревшей на жизнь жены управителя, у которой выросла Дора, она была развита не по летам, и Анна Михайловна нашла в своей маленькой сестрице друга, уже способного понять всякую мысль и отозваться на каждое чувство.

В это время Анне Михайловне шел двадцатый, а Дорушке пятнадцатый год. Труды и заботы Анны Михайловны увенчались полным успехом: магазин ее приобретал день ото дня лучшую репутацию, здоровье служило как нельзя лучше; Амур щадил их сердца и не шевелил своими мучительными стрелами: нечего желать было больше.

Так прошло три года.

В эти три года Анна Михайловна не могла добиться от князя трех слов о своем ребенке, существование которого не было секретом для ее сестры, и решила ехать с Дорушкой в Париж, где мы их и встречаем.

Они здесь пробыли уже около месяца прежде, чем столкнулись в Лувре с Долинским. Анна Михайловна во все это время никак не могла добиться аудиенции у своего князя. Его то не было дома, то он не мог принять ее. К Анне Михайловне он обещал заехать и не заезжал.

– Очень милый господин! Вежлив, как сапожник, – говорила Дорушка, непомерно раздражаясь на князя, которого Анна Михайловна всякий день с тревогою и нетерпением дожидалась с утра до ночи и все-таки старалась его оправдывать.

Наконец и Анна Михайловна не выдержала. Она написала князю самое убедительное письмо, после которого тот назначил ей свидание у Вашета.

Анну Михайловну очень удивляло, почему князь не мог принять ее у себя и назначает ей свидание в ресторане, но от него это была уже не первая обида, которую ей приходилось прятать в карман. Анна Михайловна в назначенное время отправилась с Дорой к Вашету. Дорушка спросила себе чашку бульону и осталась внизу, а Анна Михайловна показала карточку, переданную ей лакеем князя.

Ее проводили в небольшую, очень хорошо меблированную комнату в бельэтаже.

Анна Михайловна опустилась на диван, на котором года четыре назад сживала веселая и доверчивая с этим же князем, и вспомнилось ей многое, и стало ей и горько, и смешно.

«Каково-то будет это свидание?»—подумала она с грустной улыбкой.

«Поговорим о деле, о *нашем ребенке*, и пожелаем друг другу счастливо оставаться».

В дверь кто-то слегка постучался.

«Это его стук», – подумала Анна Михайловна и отвечала: «Войдите».

Вошел расфранченный господин, совершенно незнакомый Анне Михайловне.

– Вы госпожа Прохорова? – спросил он ее чистейшим парижским языком.

– Я, – отвечала она.

– Вам угодно было видеть князя Сурского?

– Да, мне нужно видеть князя Сурского.

– Он не может лично видаться с вами сегодня. Анна Михайловна смешалась.

– Однако, надеюсь, он пригласил меня сюда!

– Да, это он, который вас пригласил сюда, но ручаюсь вам, *madame*, он здесь не будет.

Вы, верно, знаете – князь помолвлен.

– Помолвлен! Нет, я этого не знала и не намерена искать чести узнавать его невесты, – говорила, торопясь и мешаясь, Анна Михайловна. – Скажите мне только одно: где и когда, наконец, я могу его видеть на несколько минут?

– Говоря поистине, я полагаю, *никогда*, – отвечал, вскидывая голову, француз. – Князь много дел таких покончил через меня и теперь уполномочил меня переговорить и кончить с вами. Я, его камердинер, к вашим услугам.

Француз развязно поклонился.

– Я вам не верю, – отвечала, вся вспыхнув, Анна Михайловна.

Камердинер развернул свою записную книжечку и показал листок, на котором рукою князя было написано:

«Я уполномочил моего камердинера, господина Рено, войти с госпожою Прохоровой в переговоры, которых она желает».

– Где мой ребенок? – резко спросила, роняя из рук записную книжку, Анна Михайловна.

– Умер, больше двух лет назад, – отвечал спокойно господин Рено.

– Так вы скажите вашему князю, что я только это и хотела знать, – твердо произнесла Анна Михайловна и вышла из комнаты.

– Какая неслыханная дерзость! – воскликнула Дора, когда сестра, дрожа и давясь слезами, рассказала ей о своем свидании.

– Он пустой и ничтожный человек, – отвечала, краснея, Анна Михайловна и заплакала.

– О чем же, о чем это ты плачешь?.. Тебя, честную женщину, выписывают в кабак, в трактир какой-то, доверяют твои тайны каким-то французикам, лакеям, а ты плачешь! Разве в таких случаях можно плакать? Такой мерзавец может вызывать одно только пренебрежение, а не слезы.

– Не могу пренебрегать равнодушно.

– Ну, мсти!

– Я не умею мстить и не хочу. Я гадка сама себе, он мне просто жалок.

– Жалок!.. Да, очень жалок... Я бы с жалости ему разгрызла горло и плюнула бы в глаза его лакею.

– Дора, оставь меня лучше в покое!

Дорушка пожалала плечами, и они поехали в том омнибусе, в котором встретились у св. Магдалины с Долинским, когда встревоженная Анна Михайловна обронила присланный ей из Москвы денежный вексель.

## Глава третья

### История в другом роде

Дед Долинского, полуполяк, полумалороссиянин, был киевским магистратским войтом незадолго до потери этим городом привилегий, которыми он пользовался по магдебургскому праву. Войт Долинский принадлежал к старой городской аристократии, как по своему роду, так и по почетному званию, и по очень хорошему, честно нажитому состоянию пользовался в заднепровской Украине очень почтенной известностью и уважением. Стойкость, строгая справедливость и дальновидный дипломатический ум можно ставить главными чертами, способными характеризовать личность старого войта. Сын такого отца, Игнатий Долинский не наследовал всех родительских качеств. Он был человек очень честный в буржуазном смысле этого слова, и даже неглупый, но ленивый, вялый, беспечный и ко всему совершенно равнодушный. Жена Игнатия Долинского, сиротка, выросшая «в племянницах» в одном русском купеческом доме, принадлежала к весьма немалочисленному разряду наших с детства забитых великорусских женщин, остающихся на целую жизнь безответными, сиротливыми детьми и молитвенницами за затолокший их мир божий. Игнатий Долинский неспособен был разбудить в своей безответно доброй жене ни смелости, ни воли, ни энергии. Выйдя замуж и рожая детей, она оставалась таким же сиротливым и бесхитростным ребенком, каким была в доме своего московского дяди и благодетеля. Жизнь в Киеве, на высоком Печерске, в нескольких шагах от златоверхой лавры, вечно полной богомольцами, стекающимися к родной святыне от запада, и севера, и моря, рельефнее всего выработала в характере Долинской одну черту, с детства спавшую в ней в зародыше. С каждым годом Ульяна Петровна Долинская становилась все религиознее; постилась все строже, молилась больше; скорбела о людской злобе и не выходила из церкви или от бедных. Нищие, странные и убогие были любимой средой Долинской, и в этой исключительной среде ее робкая и чистая душа старалась скрываться от мирских сует и треволнений.

Деньги для Долинской никогда не имели никакой цены, а тут, отдаваясь с годами одной мысли о житье по слову божию, она стала даже с омерзением смотреть на всякое земное богатство. Ни одна монета не могла получаса пролежать в ее кармане, не перепрыгнув в дырявую суму проползшего тысячу верст мужичка или в хату к детям пьянствующего соседа-ремесленника. Рука Долинской давала и направо и налево; муж смотрел на это филаретовское милосердие совершенно спокойно. Он не только не удерживал ее безмерно щедрую руку, но даже одобрял такое распоряжение имуществом.

– Моя Ульяна Петровна – ангел, – говорил он, благоговейно поднимая глаза к небу: – она истинная христианка, бессребреница, незлобивая.

Так и шли дела, пока состояния, оставленного войтом, доставало на удовлетворение щедрости его невестки; но, наконец, в городе стали замечать, что Долинские «начали приупадать», а еще немножко – и семья Долинских уж вовсе не считалась зажиточной. Ульяна Петровна все шла своею дорогой. Детей у Долинских было трое: два сына – Аристарх и Нестор и дочь Леокадия. Росли эти дети на полной свободе: мать и отец были с ними очень нежны, но не делали детское воспитание своею главной задачей. Из детей, однако, не выходило ничего дурного: они росли детьми нежными, дружными и ласковыми. Ульяна Петровна любила их всех равно, одною чисто евангельскою любовью, но ближе двух других к ней был Нестор. Этот очаровательно красивый мальчик был страшно привязан к своей благочестивой матери и вследствие этой страстности сам пристрастился к ее образу жизни и занятиям. Торопливо протирая сонные глазенки, вскакивал он при первом движении матери в полночи; стоя на коленях, лепетал он за нею слова вдохновенных молитв Сирина, Дамаскина и, шатаясь, выстаивал долгий час монастырской полунощницы. И так всякий день. Весь дом, наполненный и истинными, и лукавыми «людьми божьими», спит безмятежным сном, а как только раздастся в двенадцать

часов первый звук лаврского полиелейного колокола, Нестор с матерью становятся на колени и молятся долго, тепло, со слезами молятся «о еже спастися людям и в разум истинный внити».

Подкрепленная усердной молитвой, Ульяна Петровна в три часа ночи снова укладывала Нестора в его постельку и сама спускалась в кухню, и с этой ранней поры там начиналось стряпанье ежедневно на сорок человек нуждающихся в пище. С шести часов утра в доме Долинских уже пили и ели, а Ульяна Петровна с этого часа позволяла себе снова искать своей духовной пищи. Сходят они с Нестором в лавру, в Великую церковь, или на Пещерах поклонятся останкам древних христианских подвижников, найдут по дороге кого-нибудь немощного или голодного, возьмут его домой, покормят, приютят и утешат. Приходит к чаю какой-нибудь странник, иногда немножко изувер, немножко лгун, немножко фанатик, а иногда и этакой простой, чистый и поэтически вдохновенный русский экземпляр, который не помнит, как и почему еще с самого раннего детства.

Им овладело беспокойство, Охота к перемене мест, (Весьма мучительное свойство И многих добровольный крест).

Идут здесь рассказы о разных чудесных местах и еще более чудесных событиях. Горы, доли, темные леса дремучие, подземные пещеры, мрачные и широкие беспредельные степи с ковылем-травой, легким перекасти-полем и божьей птицей аистом «змееистребителем»; все это так и рисуется в воображении с рассказов обутого в лапотки «человека божия», а надо всем этим серьезно возвышаются сухие, строгие контуры схимников, и еще выше лучезарный лик св. Николая, «скорого в бедах помощника», Георгий на белом, как кипень, коне, реющий в высоком голубом небе, и, наконец, выше всего этого свет, тот свет не вечерний, размышление о котором обнимает верующие души блаженством и трепетом.

Наслушавшись таких речей, Ульяна Петровна велит себе запрячь одноколочку, садится с Нестором и едет в Китаев или в Голосеев. Выедет Ульяна Петровна за город, пахнет на нее с Днепра вечной свежестью, и она вдруг оживится, почувствовав ласкающее дыхание свободной природы, но влево пробежит по зеленой муравке серый дымок, раздастся взрыв саперной мины, или залп ружей в летних бараках – и Ульяна Петровна вся так и замрет. Не слабонервный страх, а какой-то ужас духовный охватывает ее при мысли о вражде человеческой, о силе и разрушении. То же самое чувствовала она при рассказе о всяком преступлении. «Бог с ними! Богу судить зло человеческое, а не людям. Это не нами, не нашими руками создано, и не нашим умом судится» – говорила она, и никогда в целую свою жизнь не высказала ни одного суждения, никогда не хотела знать, если у нее что-нибудь крали.

– Никто не украл; зачем обижать человека! Взял кому нужно было; ну, и пошли ему бог на здоровье, – отвечала она на жалобы слуг, доводивших ей о какой-нибудь пропаже.

Кончилось тем, что «приупадавший» дом Долинских упал и разорился совершенно. Игнатий Долинский покушал спелых дынь-дубровок, лег соснуть, встал часа через два с жестокою болью в желудке, а к полуночи умер. С него распочалась в городе шедшая с северо-запада холера. Ульяна Петровна схоронила мужа, не уронив ни одной слезы на его могиле, и детям наказывала не плакать.

– Зачем, – говорила она, – его, друга нашего, смущать нашими глупыми слезами? Пусть тих и мирен будет путь его в селения праведных.

Точно Офелия, эта Шекспирова «божественная нимфа» со своею просьбою не плакать, а молиться о нем, Ульяна Петровна совсем забыла о мире. Она молилась о муже сама, заставляла молиться за него и других, ездила исповедовать грехи своей чистой души к схимникам Китаевской и Голосеевской пустыни, молилась у кельи известного провидца Парфения, от которой вдалеке был виден весь город, унывший под тяжелою тучею налетевшей на него невзгоды.

Картина была неприятная, сухая и зловещая: стоявшая в воздухе серая мгла задергивала все небо черным, траурным крепом; солнце висело на западе без блеска, как ломоть печеной репы с пригорелыми краями и тускло медной серединой; с пожелтевших заднепровских лугов

не прилетало ни одной ароматной струи свежего воздуха, и вместо запаха чебреца, меруники, богородицкой травки и горчавки, оттуда доносился тяжелый пропаленный запах, как будто там где-то тлело и дымилось несметное количество слепого сена.

– Будет молиться, Ульянушка; пора тебе собираться в путь, – сказал Ульяне Петровне заставший ее на вечерней молитве старец.

Ульяна Петровна растолковала себе эти слова по-своему. Она посмотрела в угасшие очи отшельника, поклонилась ему до земли, вернулась домой, отговелась в лавре, причастилась в пещере св. Антония, потом соборовалась и через день скончалась. С нею и прекратилась в городе холера.

Дети Долинских остались одни, с одним деревянным домом, обремененным тяжелыми долгами. Аристарх, шестнадцати лет, пошел служить к купцу; сестру Леокадию взяла тетка и увезла куда-то к Ливнам, а Нестора, имевшего четырнадцать лет, призрел дядя, бедный брат Ульяны Петровны, добившийся кафедры в московском университете. Брат Ульяны Петровны был человек и добрый, и ученый, но слабый характером, а жена его была недобрая женщина, пустая и тщеславная. В этом доме Нестор Долинский начал только учиться. Двадцати одного года он окончил курс гимназии, двадцати пяти вышел первым кандидатом из университета и тотчас поступил старшим учителем в одну из московских гимназий, а двадцати семи женился самым неудачным образом.

Нестор Игнатьевич Долинский во многих своих сторонах вышел очень странным человеком. Никто не сомневался, что он человек очень умный, чувствительный, но никто бы не умел продолжать его характеристику далее этих общих определений.

– Мой Сторя будет истинный инок божий, – говаривала часто его мать, поглаживая сына по головке, обрекаемой под черный клобук.

Может быть, покойная Ульяна Петровна и не ошиблась. Может быть, ее кроткий красавец-сын и точно более всего обладал качествами, нужными для сосредоточенной, самосозерцательной и молитвенной жизни, которую наш народ считает приличною истинному иночеству. Он, вероятно, мог быть хорошим проповедником, утешителем и наставником страждущего человечества, которому он с раннего детства привык служить под руководством своей матери и которое оставалось ему навсегда близким и понятным; к людским неправдам и порокам он был снисходителен не менее своей матери, но страстная религиозность его детских лет скоро прошла в доме дяди. Он был, что у нас называется, «человек разноплетеный». Нарушаемый извне мир своего внутреннего *Я* он не умел врачевать молитвой, как его мать, но он и сам ничего не отстаивал, ни за что не бился крепко. Он никогда не жаловался ни на что ни себе, ни людям, а, огорченный чем-нибудь, только уходил к общей нашей матери-природе, которая всегда умеет в меру успокоить оскорбленное эстетическое чувство или восстановить разрушенный мир с самим собой. Жизнь в одном доме с придиричивой, мелочной и сварливой женой дяди заставляла его часто лечить свою душу, возмущавшуюся против несправедливых и неделикатных поступков ее в отношении мужа.

В какой мере это портило характер Нестора Игнатьевича, или способствовало лучшей выработке одних его сторон насчет угнетения других – судить было невозможно, потому что Долинский почти не жил с людьми; но он сам часто вздыхал и ужасался, считая себя человеком совершенно неспособным к самостоятельной жизни. Сильно поразившая его, после чистого нрава матери, вздорная мелочность дядиной жены, развила в нем тоже своего рода мелочную придиричивость ко всякой людской мелочи, откуда пошла постоянно сдерживаемая раздражительность, глубокая скорбь о людской порочности в постоянной борьбе с снисходительностью и любовью к человечеству и, наконец, болезненный разлад с самим собою, во всем мучительная нерешительность – безволие. Это последнее свойство своего характера Долинский очень хорошо сознавал, и оно-то приводило его в совершенное отчаяние. Во что бы то ни стало он хотел быть сильным господином своих поступков и самым безжалостным образом заставлял

свое сердце приносить самые тяжелые жертвы не разуму, а именно решимости выработать в себе волю и решимость. Эти экспериментальные упражнения над собою до такой степени забили Нестора Долинского, что, классифицируя свое желание, он уже затруднялся разбирать, хочет ли он чего-нибудь потому, что этого ему хочется, или потому, что он должен этого хотеть. Это его страшно пугало. Два-три страшных случая, в которых он, преследуя свою задачу, в одно и то же время поступал наперекор и своей воле и своим желаниям, повергали его в глубокую апатию – у него развивалась мизантропия.

В это время из самого хлебородного уезда хлебороднейшей губернии, в разлатом циночном возке, приплыло в Москву почтенное семейство мелкопоместных дворян Азовцовых. Новоприбывшая фамилия состояла из матери, толстомясой барыни с седыми волосами, румяным лицом, черными корнетскими усиками и живыми черными же барсучьими глазами, напоминающими, впрочем, более глаза сваренного рака. Потом здесь были две девушки, дочери, Юлия и Викторина. Викторине всего шел пятнадцатый год, и о ней не стоит распространяться. Довольно сказать, что это было довольно милое и сердечное дитя, из которого, при благоприятных обстоятельствах, могла выйти весьма милая женщина. Старшей ее сестре Юлии было полных девятнадцать лет. Это была небольшая черненькая фигурка, некрасивая, неизящная, несимпатичная, так себе, как в сказке сказывается, «девка-чернявка», или, как народ говорит, «птица-пигалица». Нрав у этой чернявки был самый гнусный: хитра, предательски ехидна, самолюбива, жадна, мстительна, требовательна и жестокосерда. Притом каждого из этих почтенных свойств в ней находилось по самой крупной дозе.

При столь почтенных свойствах характера «девица-чернявка» была довольно неглупа. Ее нельзя было назвать особенной умницей, но она, несомненно, владела всеми теми способностями ума, которые нужны для того, чтобы хитрить, чтобы расчищать себе в жизни дорожку и сдвигать с нее других самым тихим и незаметным манером. Справедливость требует сказать, что у чернявки когда-то, хоть очень давно, хоть еще в раннем детстве, в натуре было что-то доброе. Так она, например, не могла видеть, как бьют лошадь или собаку, и способна была заплакать при известии, что застрелился какой-нибудь молодой человек, особенно если молодому человеку благоразумно вздумалось застрелиться от любви, но... но сама любить кого-нибудь, кроме себя и денег... этого Юлия Азовцова не могла, не умела и не желала. У нее бывали и друзья, которые не могли иметь при ней никакого значения. Один такой ее Друг, некая бедная купеческая девушка Устинька, целые годы служила Юлии Азовцовой для сбрасывания на нее всякого сору и гадостей, и, благодаря ей, невинно утратила репутацию, столь важную в узеньком кружке бедного городишка.

Обстоятельства, при которых протекло детство, отрочество и юность Юлии Азовцовой, были таковы, что рассматриваемая нами особь, подходя к данной поре своей жизни, не могла выйти не чем иным, как тем, чем она ныне рекомендуется снисходительному читателю. Она с самого раннего детства была поилицей и кормилицей целой семьи, в которой, кроме матери и сестры, были еще грызуны в виде разбитого параличом и жизнью отца и двух младших братьев. Состояние Азовцовых заключалось в небольшом наследственном хуторе, в котором, по местному выражению, было «два двора-гончара, а третий – тетеречник». Об отце Юлии Азовцовой с гораздо большей основательностью, чем о муже слесарши Пошлепкиной, можно было сказать, что он решительно «никуда не годился». Мать ее, у которой, как выше замечено, были черные рачьи глаза навывкате и щегольские корнетские усики, называлась в своем уезде «матроской». Она довольно побилась со своим мужем, определяя и перемещая его с места на место, и, наконец, произведя на свет Викториночку, бросила супруга в его хуторном тетеречнике и перевезла весь свой приплод в ближайший губернский город, где в то святое и приснопамятное время содержал винный откуп человек, известный некогда своим богатством, а ныне – позором и бесславием своих детей. Бабушка этого богача с бабушкой «матроски», как говорят, на одном солнышке чулочки сушили, и в силу этого сближающего обстоятельства «матроска»

считала богача своим дяденькой. Радостно сретая некогда его коммерческое восхождение, она упросила его быть восприимчивым отцом Юлиньки. Коммерческая двойка, взлезавшая в то время в онёрную фигуру, была честолюбива, как все подобные двойки, но еще не заелась поклонениями, была, так сказать, довольно ручна и великодушно снизошла на матроскину просьбу. В фигуре валета эта добродетельная карта сделалась матроскиным дядей и кумом, а когда три ограбленные валетом губернии произвели его в тузы, матроска, без всяких средств в жизни, явилась в его резиденцию. Главным и единственным ее средством в это время была «Юлочка», и Юлочка, ценою собственного глубокого нравственного развращения, вывезла на своих детских плечах и мать, и отца, и сестру, и братьев. Маленькой, пятилетней девочкой, всю в завиточках, в коротеньком платьице и обшитых кружевцами панталончиках, матроска отвезла ее в вертеп откупного туза и научила, как она должна плакать, как притворяться слабой, как ласкаться к тузу, как льстить его тузихе, как уступать во всем тузенятам. Выпущенная к рампе, Юлочка с первого же раза обнаружила огромные дипломатические и сценические дарования. Она лгала, как историк, и вернулась домой с тысячью рублей. С этих пор Юлочка была запродана ненасытному мамону и верно поработала ему до седьмого пота. Начавшееся с этих пор христорадничанье и нищевродство Юлочки не прекращалось до того самого дня, в который мы встречаем ее въезжающей в разлатом возке с сестрою, матерью и младшим братом Петрушей в Москву. Много «девка-чернявка» натерпелась обид и горя в своей нищевродной жизни! Обижала ее и сухая, жесткая тузиха, и надменные тузенята, и лакеи, и большая меделянская собака Выдра, имевшая привычку поднимать лапу на каждого, кто боялся прогнать ее пред очами самого туза. Юлочка глотала слезы, глядя на свое свеженькое платьице, беспощадно испорченное Выдрою, но все сносила терпеливо. Благодетель замечал это и дарил Юлочке за одно испорченное платьице пять новых, но зато тузиха и тузенята называли ее *тумбочкой* и вообще делали предметом самых злобных насмешек. Юлочка все это слагала в своем сердце, ненавидела надменных богачей и кланялась им, унижалась, лизала их руки, лгала матери, стала низкой, гадкой лгуньей; но очень долго никто не замечал этого, и даже сама мать, которая учила Юлочку лгать и притворяться, кажется, не знала, что она из нее делает; и она только похваливала ее ум и расторопность. Духовного согласия у матери с дочерью, впрочем, вовсе не было. Оба эти паразита составляли плотный союз только тогда, когда дело шло о том, чтобы тем или иным ловким фортеlem вымозжить что-нибудь у своих благодетелей. В остальное же время они нередко были даже открытыми врагами друг другу: Юла мстила матери за свои унижения—та ей не верила, видя, что дочь начала далеко превосходить ее в искусстве лгать и притворяться. Вообще довольно смелая и довольно наглая, матроска была, однако, недостаточно дальновидна и очень изумилась, замечая, что дочь не только пошла далее нее, не только употребляет против нее ее же собственное оружие, но даже самое ее, матроску, делает своим оружием. Вдруг туза стукнула кондрашка; все неожиданно перекрутилось, съехавшиеся из Москвы и Питера сыновья и дочери откупщика смотрели насмешливо на неутешные слезы матроски с Юлою и отделили им из всего отцовского наследства остальные визитные карточки покойного да еще что-то вроде трех стаметовых юбок. Видя, что с визитными карточками да тремя стаметовыми юбками на этом белом свете немного можно поделаться, матроска, по совету Юлоч-ки, снарядила возок и дернула в Белокаменную, где прочной оседлостью жили трое из детей покойного благодетеля. Ехали наши паразиты с тем, чтобы так-не-так, а уж как-нибудь что-нибудь да вымозжить у наследников, или, по крайней мере, добиться, чтобы они пристроили Викториночку и Петрушу.

– Я скажу им: помилуйте, ваш отец—мой дядя, вот его крестница; вам будет стыдно, если ваша тетка с просительным письмом по номерам пойдет. Должны дать; не могут не дать, каналы! – рассказывала она, собираясь идти к тузовым детям.

Юлочка молчала. Она верила, что мать может что-нибудь вымозжить, но ей-то, Юлочке, в этом было очень немного радости. Ей нужно было что-то совсем другое, более прочное и

самостоятельное. Она любила богатство и в глаза величала тех богачей, от которых можно было чем-нибудь пощетиться; но в душе она не терпела всех, кто родом, племенем, личными достоинствами и особенно состоянием был поставлен выше и виднее ее, а выше и виднее ее были почти все. Юлочка понимала, что ей нужен прежде всего муж. Она знала, что в своих местах, на ней, «попрошайке», нищей, не женится никто, ибо такого героизма она не подозревала в своих местных кандидатах на звание мужей, да ей и не нужны были герои, точно так же, как ей не годились люди очень мелкие. Ей нужен был человек, которым можно было бы управлять, но которого все-таки и не стыдно было бы назвать своим мужем; чтобы он для всех казался человеком, но чтобы в то же время его можно было сделать слепым и безответным орудием своей воли.

Таким человеком ей показался Нестор Игнатьевич Долинский, и она перевенчала его с собою.

Происшествие это случилось с Долинским в силу все той же его доброты и известной, несчастной черты его характера.

Дела Азовцовых устроились. Петрушу благодетели определили в пансион; на воспитание Викторинушки они же ассигновали по триста рублей в год, и на житье самой матроски с крестницей покойника назначили по шестисот. Азовцовы, заручившись такой благодатью, однако не поехали назад, а решились оставаться в Москве. Они знали, что «благодетели» от природы народ рассеянный, ветреный, забывчивый и требующий понуждения. Юлия Азовцова растолковала матери, что Викторинушка уж велика, чтобы ее отдавать в пансион; что можно найти просто какого-нибудь недорогого учителя далеко дешевле, чем за триста рублей, и учить ее дома.

– Таким образом, – говорила она, – вы сделаете экономию, и благодетели наши будут покойны, что деньги употребляются на то самое, на что они даны.

При этих соображениях вспомнили о брате Леокадии Долинской, с которой Юлия была знакома по губернской жизни. Нестора Игнатьевича отыскивали; наговорили ему много милого о сестре, которая только с полгода вышла замуж; рассказали ему свое горе с Викторинушкой, которая так запоздала своим образованием, и просили посоветовать им хорошего наставника. Вечно готовый на всякую услугу, Долинский тотчас же предложил в безвозмездные наставники Викторине самого себя. Матроска, было, начала жеманиться, но Юлия быстро встала, подошла к Долинскому, с одушевлением сжала в своих руках его руку и с глазами, полными слез, торопливо вышла из комнаты. Она казалась очень растроганной. Матроску это даже чуть было не сбilo с такту.

– Так, моя милейшая, нельзя-с держать себя, – говорила она, проводив Долинского, Юлочке. – Здесь не губерния, и особенно с этим человеком... Мы знакомы с его сестрой, так должны держать себя с ним совсем на другой ноге.

– Не беспокойтесь, пожалуйста, знаю я, на какой ноге себя с кем держать, – отвечала Юлия.

Долинский начал заниматься с Викторинушкой и понемногу становился близким в семействе Азовцовых. Юлия находила его очень удобным для своих планов и всячески старалась разгадать, как следует за него братья вернее.

– Кажется, на поэзию прихрамливает! – заподозрила она его довольно скоро, разумея под словом *поэзия* именно то самое, что разумеют под этим словом практические люди, признающие только то, во что можно пальцем ткнуть. Заподозрила Юлия этот порок за Долинским и стала за ним приглядывать. Сидит Долинский у Азовцовых, молча, перед топящеюся печкою. Юла тихо взойдет неслышными шагами, тихо сядет и сидит молча, не давая ему даже чувствовать своего присутствия. Долинский встанет и извиняется. Это повторилось два-три раза.

– Пожалуйста, не извиняйтесь; я очень люблю сидеть вдвоем и молча.

Долинский конфузился. Он вообще был очень застенчив с женщинами и робел перед ними.

– Этак я не одна, и между тем никому не мешаю, – мечтательно досказала Юла. – Вы знаете, я ничего так не боюсь в жизни, как быть кому-нибудь помехою.

– Этого, однако, я думаю, очень нетрудно достигнуть, – отвечал Долинский.

– Да, нетрудно, как вы говорите, но и не всегда: часто поневоле должен во что-нибудь вмешиваться и чему-нибудь мешать.

– Вы, пожалуйста, не подумайте, что эти слова имеют какой-нибудь особый смысл! Я, право, так глупо это сказала.

Юлочка улыбнулась.

– Нет, я... ничего не думаю, – отвечал Долинский.

– То-то, уж хоть бы нам не мешали, а то где нам, грешным! – замечала с тою же снисходительной улыбкой Юлия.

В таких невинных беседах Юлия тихо и незаметно шла к сближению с Долинским, заявляясь ему особенно со стороны смиренности и благопокорности. Долинский, кроме матери и тетки, да сестры, не знал женщин. Юлочка была первая сторонняя женщина, обратившая на него свое внимание. Юлии и это обстоятельство было известно, и его она тоже приняла к сведению и надлежащему соображению. Тонкостей особенных, значит, было не надо, и они могли оказать более вреда, чем пользы. Нужен был один ловкий подвод, а затем смелые вариации поэффектнее, и дело должно удалиться.

Не прошло двух месяцев со дня их первого знакомства, как Долинский стал находить удовольствие сидеть и молчать вдвоем с Юлией; еще долее они стали незаметно высказывать друг другу свои молчаливые размышления и находить в них стройную гармонию. Долинский, например, вспоминал о своей благословенной Украине, о старом Днепре, о наклонившихся крестах Аскольдовой могилы, о набережной часовне Выдубецкого монастыря и музыкальном гуле лаврских колоколов. Юлочка тоже и себе начинала упражняться в поэзии: она вздумала о кисельных берегах своей мелкопоместной Тускари и гнилоберегой Неручи, о ракитках, под которыми в полдневный жар отдыхают идущие в отпуск отечественные воины; о кукушке, кукующей в губернаторском саду, и белом купидоне, плачущем на могиле откупщика Сыропятова, и о прочих сим подобных поэтических прелестях. Если истинная любовь к природе рисовала в душе Долинского впечатления более глубокие, если его поэтическая тоска о незабвенной украинской природе была настолько сильнее деланной тоски Юлии, насколько грандиозные и поражающие своим величием картины его края сильнее тщедушных, неизменных, черноземно-вязких картин, по которым проводила молочные воды в кисельных берегах подшпоренная фантазия его собеседницы, то зато в этих кисельных берегах было так много топких мест, что Долинский не замечал, как ловко тускарские пауки затягивали его со стороны великодушия, сострадания и их непонятных высоких стремлений. Юлочка зорко следила за своей жертвой и, наконец, после одной беседы о любви и о Тускари, решила, что ей пора и на приступ. Вскоре после такого решения, в один несчастливейший для Долинского вечер, он застал Юлию в самых неутешных, горьких слезах. Как он ее ни расспрашивал с самым теплейшим участием—она ни за что не хотела сказать ему этих горьких слез. Так это дело и прошло, и кануло, и забылось, а через месяц в доме Азовцовых появилась пожилая благородная девушка Аксинья Тимофеевна, и тут вдруг, с речей этой злополучной Аксиньи Тимофеевны оказалось, что Юлия давно благодетельствовала этой девушке втайне от матери, и что горькие слезы, которые месяц тому назад у нее заметил Долинский, были пролиты ею, Юлией, от оскорблений, сделанных матерью за то, что она, Юлия, движимая чувством сострадания, чтобы выручить эту самую Аксинью Тимофеевну, отдала ей заложить свой единственный меховой салоп, справленный ей благодетелями. Выстрел попал в цель. С этих пор Долинский стал серьезно

задумываться о Юлочке и измышлять различные средства, как бы ему вырвать столь достойную девушку из столь тяжелого положения.

Выпущенная по красному зверю Аксинья Тимофеевна шла верхним чутьем и работала как нельзя лучше; заложенная шуба тоже служила Юлии не хуже, как Кречинскому его бычок, и тепло прогревала бесхитрое сердце Долинского. Юлия Азовцова, обозрев поле сражения и сообразив силу своей тактики и орудий с шаткой позицией атакованного неприятеля, совершенно успокоились. Теперь она не сомневалась, что, как по нотам, разыграет всю свою хитро скомпонованную пьесу.

«Нашла дурака», – думала матроска и молчала, выжидая, что из всего этого отродится.

– Этот агнец кроткий в стаде козьем, – шептала Долинскому Аксинья Тимофеевна, указывая при всяком удобном случае на печальную Юлию.

– И нет достойной души, которая исторгла бы этого ангела, – говорила она в другой раз. – Подлые все нынче люди стали, интересаны.

Пятого декабря (многими замечено, что это – день особенных несчастий) вечером Долинский завернул к Азовцовым. Матроски и Викторинушки не было дома, они пошли ко всенощной, одна Юлия ходила по зале, прихотливо освещенной красным огнем разгоревшихся в печи Дров.

– Что вы это... хандрите, кажется? – спросил ее, садясь против печки, Долинский.

– Нет, Нестор Игнатьевич... некогда мне хандрить; у меня настоящего горя...

Юлочка прервала речь проглоченною слезою.

– Что с вами такое? – спросил Долинский. Юлия села на диван и закрыла платком лицо.

Плечи и грудь ее подергивались, и было слышно, как она силится удержать рыдания.

– Да что с вами? Что у вас за горе такое? – добивался Долинский.

Раздались рыдания менее сдержанные.

– Не подать ли вам воды?

– Д... д... да... и... те, – судорожно захлебываясь, произнесла Юлочка.

Долинский пошел в другую комнату и вернулся со свечою и стаканом воды.

– Погасите, пожалуйста, свечу, не могу смотреть, – простионала Юлия, не снимая платка.

Долинский дунул, и картина осталась опять при одном красном, фантастическом полусвете.

– А, а, ах! – вырвалось из груди Юлии, когда она отпила полстакана и откинулась с закрытыми глазами на спинку дивана.

– Вы успокойтесь, – проронил Долинский.

– Могила меня одна успокоит, Нестор Игнатьич.

– Зачем все представлять себе в таком печальном свете?

Юлия плакала тихо.

– Полжизни, кажется, дала бы, – говорила она тихо и не спеша, – чтоб только хоть год один, хоть полгода... чтоб только уйти отсюда, хоть в омут какой-нибудь.

– ну, что же, подождите, мы поищем вам места. О чем же так плакать?

– Никуда меня, Нестор Игнатьич, не пустят: нечего об этом говорить, – произнесла, сделав горькую гримасу, Юлия и, хлебнув глоток воды, опять откинулась на спинку дивана.

– Отчего же не пустят?

Юлия истерически засмеялась и опять поспешно проглотила воды.

– От любви... от нежной любви... к... к... арендной статье, – произнесла она, прерывая свои слова порывами к истерическому смеху, и, выговорив последнее слово, захохотала.

Долинский сорвался с места и бросился к дверям в столовую.

– Ос... остань... останьтесь! – торопливо процедила, заикаясь, Юлия. – Это так... нич... ничего. Позвольте мне еще воды.

Долинский принес из столовой другой стакан; Юлия выпила его залпом и приняла свое положение.

Минут десять длилась пауза. Долинский тихо ходил по комнате, Юлия лежала.

– Боже мой! Боже мои! – шептала она, – хоть бы...

– Чего вам так хочется? – спросил, остановившись перед ней, Долинский.

– Хоть бы булочник какой женился на мне, – закончила Юлия.

– Какие вы нынче странности, Юлия Петровна, говорите!

– Что ж тут, Нестор Игнатьич, странного? Я очень хорошо знаю, что на мне ни один порядочный человек не может жениться, а другого выхода мне нет... решительно нет! – отвечала Юлия с сильным напряжением в голосе.

– Отчего же нет? И отчего, наконец, порядочный человек на вас не женится?

– Отчего? Гм! Оттого, Нестор Игнатьич, что я нищая. Мало нищая, я побирашка, христорадница, *лгунья*; понимаете—*лгунья*, презренная, гадкая *лгунья*. Вы знаете, в чем прошла моя жизнь? – в лганье, в нищebroдстве, в вымаливаньи. Вы не сумеете так поцеловать своей невесты, как я могу перецеловать руки всех откупщиков... пусть только дадут хоть по... пяти целковых.

– О, господи! Что это вы на себя за небылицы возводите, – говорил сильно смущаясь Долинский.

– Что это вас так удивляет! *Это мой честный труд*; меня этому только учили; меня этому теперь учат. Ведь я же дочь! *Жизнью обязана*; помилуйте!

Вышла опять пауза. Долинский молча ходил, что-то соображая и обдумывая.

– Теперь пилить меня замужеством! – начала как бы сама с собою полупшепотом Юлия. – Ну, скажите, ну, за кого я пойду? Ну, я пойду! Ну, давайте этого дурака:

пусть хоть сейчас женится.

– Опять!

– Да что же такое! Я говорю правду.

– Хороший и умный человек, – начала Юлочка, – когда узнает нас, за сто верст обежит. Ведь мы ложь, мы, Нестор Игнатьич, самая воплощенная ложь! – говорила она, трепеща и приподнимаясь с дивана. – Ведь у нас в доме все лжет, на каждом шагу лжет. Мать моя лжет, я лгу, Викторина лжет, все лжет... мебель лжет. Вон, видите это кресло, ведь оно также лжет, Нестор Игнатьич! Вы, может быть, думаете, шелки или бархаты там какие закрыты этим чехлом, а выйдет, что дерюга. О, боже мой, да я решительно не знаю, право... Я даже удивляюсь, неужто мы вам еще не гадки?

Долинский постоял с секунду и, ничего не ответив, снова заходил по комнате. Юлинька встала, вышла и через несколько минут возвратилась со свечой и книгой.

– Темно совсем; я думаю, скоро должны придти ото всенощной, – проговорила она и стала листать книжку, с очевидным желанием скрыть от матери и сестры свою горячую сцену и придать картине самый спокойный характер.

Она перевернула несколько листков и с болезненным усилием даже рассмеялась.

– Послушайте, Нестор Игнатьич, ведь это забавно —

Вообрази: я здесь одна,  
Меня никто не понимает;  
Рассудок мой изнемогает,  
И молча гибнуть я должна.

– Нет, это не забавно, – отвечал Долинский, остановившись перед Юлинькой.

– Вам жаль меня?

– Мне прискорбна ваша доля.

– Дайте же мне вашу руку, – попросила Юлинька, и на глазах ее замигали настоящие, искренние, художественные слезы.

Долинский подал свою руку.

– И мне жаль вас, Нестор Игнатьич. Человеку с вашим сердцем плохо жить на этом гадком свете.

Юлочка быстро выпустила его руку и тихо заплакала.

– Я и не желаю жить очень хорошо.

– Да, вы святой человек! Я никогда не забуду, сколько вы мне сделали добра.

– Ничего ровно.

– Не говорите мне этого, Нестор Игнатьич. Зачем это говорить! Узнавши вас, я только и поняла все... все хорошее и дурное, свет и тени, вашу чистоту, и... все собственное ничтожество...

– Полноте, бога ради!

– И полюбила вас... не как друга, не как брата, а... (Долинский совершенно смутился). – Юлинька быстро схватила его снова за руку, еще сильнее сжала ее в своих руках и со слезами в голосе договорила, – а как моего нравственного спасителя и теперь еще, может быть, в последний раз, ищу у вас, Нестор Игнатьич, спасения.

Юлинька встала, близко придвинулась к Долинскому и сказала:

– Нестор Игнатьич, спасите меня!

– Что вы хотите сказать этим? Что я могу для вас сделать?

– Нестор Игнатьич!.. Но вы ведь не рассердитесь, какая бы ни была моя просьба?

Долинский сделал головою знак согласия.

– Мы можем платить за уроки Викторины; вы не верьте, что мы так бедны... а вы... не ходите к нам; оставьте нас. Я вас униженно, усердно прошу об этом.

– Извольте, извольте, но зачем это нужно и какой предлог я придумаю?

– Какой хотите.

– И для чего?

– Для моего спасения, для моего *счастья*. *Для моего счастья*, – повторила она и засмеялась сквозь слезы.

– Не понимаю! – произнес, пожав плечами, Долинский.

– И не нужно, – сказала Юлия.

– Я вас стесняю?

– Да, Нестор Игнатьич, вы создаете мне новые муки. Ваше присутствие увеличивает мою борьбу—ту борьбу, которой не должно быть вовсе. Я должна идти, как ведет меня моя судьба, не раздумывая и не оглядываясь.

– Что это за загадки у вас сегодня?

– Загадки! От нищенки благодетели долг требуют.

– Ну-с!

– Я ведь вот говорила, что я привыкла целовать откупщицьи руки... ну, а теперь один благодетель хочет приучить меня целовать его самого. Кажется, очень просто и естественно... Подросла.

– Ужасно!.. Это ужасно!

– Нестор Игнатьич, мы нищие.

– Ну, надо работать... лучше отказать себе во всем.

– Вы забываете, Нестор Игнатьич, что мы *ничего* не умеем делать и ни в *чем* не желаем себе отказывать.

– Но ваша мать, наконец!

– Мать! Моя мать твердит, что я *обязана ей жизнью* и должна заплатить ей за то, что она выучила меня побираться и... да, наконец, ведь она же не слепа, в самом деле, Нестор Игнатьич! Ведь она ж видит, в какие меня ставят положения.

Долинский заходил по комнате и вдруг, круто повернув к Юлиньке, произнес твердо:

– Вы бы хотели быть моею женою?

– Я! – как бы не поняв и оторопев, переспросила Юлинька.

– Ну, да; я вас откровенно спрашиваю: лучше было бы вам, если бы вы теперь были моею женою?

– Вашей женой! Твоей женой! Это *ты* говоришь – мне! Ты – мое божество, мой гений-хранитель! Не смейся, не смейся надо мною!

– Я не смеюсь, – отвечал ей Долинский. Юлинька взвизгнула, упала на его грудь, обняла его за шею и тихо зарыдала.

– Тес, господа! господа! – заговорил за спиною Долинского подхалимственный голос Аксиньи Тимофеевны, которая, как выпускная кукла по пружинке, вышла как раз на эту сцену в залу. – Ставни не затворены, – продолжала она в мягко-наставительном тоне, – под окнами еще народ слоняется, а вы этак... Нехорошо так неосторожно делать, – прошептала она как нельзя снисходительнее и опять исчезла.

Несмотря на то, что дипломатическая Юлочка, разыгрывая в первый раз и без репетиции новую сцену, чуть не испортила свою роль перебавленным театральным эффектом, Долинский был совершенно обманут. Сконфуженный неожиданным страстным порывом Юлочки и еще более неожиданным явлением Аксиньи Тимофеевны, он вырвался из горячих Юлочкиных объятий и прямо схватился за шапку.

– Боже мой! Аксинья Тимофеевна все видела! Она первая сплетница, она всем все разболтает, – шептала между тем, стоя на прежнем месте, Юлочка.

– Что ж такое? Это все равно, – пробурчал Долинский. – Прощайте.

– Куда же вы? Куда ты! Подожди минутку.

– Нет, прощайте.

Долинский ничего не слушал и убежал домой. По выходе Долинского Юлинька возвратилась назад в зал, остановилась среди комнаты, заложила за затылок руки, медленно потянулась и стукнула каблучками.

– Вот уж именно что можно чести приписать, – заговорила, тихо выползая из темной комнаты, Аксинья Тимофеевна.

Юлочка нервно вздрогнула и сердито оторвала:

– Фу, как вы всегда перепугаете со своим ползаньем!

– Однако, сделайте же ваше одолжение: что же он обо мне подумает? – говорила Юлиньке ночью матроска, выслушав от дочери всю сегодняшнюю вечернюю историю в сокращенном рассказе.

– А вам очень нужно, что он о вас подумает? – отвечала презрительно, смотря через плечо на свою мать, Юлинька.

– Нужно или не нужно, но ведь я же, однако, не торгую моими детьми.

– Не торгуете! Молчите уж, пожалуйста!

– Торгую! – крикнула азартно матроска.

– Ну, так *заторгуете*, если будете глупы, – отвечала спокойно Юлия.

Одним словом, Долинский стал женихом и известил об этом сестру.

«Да спасет тебя господь бог от такой жены, – отвечала Долинскому сестра. – Как ты с ними познакомился? Я знаю эту фальшивую, лукавую и бессердечную девчонку. Она вся ложь, и ты с нею никогда не будешь счастлив».

Долинскому в первые минуты показалось, что в словах сестры есть что-то основательное, но потом показалось опять, что это какое-нибудь провинциальное предубеждение. Он не хотел

скрывать это письмо и показал его Юлиньке; та прочла все от строки до строки со спокойным, ясным лицом, и, кротко улыбнувшись, сказала:

– Вот видишь, в каком свете я должна была казаться. Верь чему хочешь, – добавила она со вздохом, возвращая письмо.

«Не умею высказать, как я рада, что могу тебе послать доказательство, что такое твоя невеста, – писала Долинскому его сестра через неделю. – Вдобавок ко всему она вечно была эффектница и фантазерка и вот провралась самым достойным образом. Прочитай ее собственное письмо и, ради всего хорошего на свете, бога ради не делай несчастного шага».

При письме сестры было приложено другое письмецо Юлиньки к той самой приятельнице, которая всегда служила для нее помойной ямой.

«Я наконец выхожу замуж, – писала Юлинька между прочим. – Моя нежная родительница распорядилась всем по своему обыкновению и сама без моего ведома дала за меня слово, не считая нисколько нужным спросить мое сердце. Через месяц, для блага матери и сестры, я буду *madame Долинская*. Будущий муж мой человек очень неглупый и на хорошей дороге; но ужасно не развит, и мы с ним не пара ни по чему. Живя с ним, я буду исполнять мой долг и недостаток любви заменю заботою о его развитии, но жизнь моя будет, конечно, одно сплошное страдание. Любить его, увы, я, разумеется, не могу. Как я понимаю любовь, так любят один раз в жизни; но... я, может быть, привыкну к нему и помирюсь с грустной необходимостью. Моя вся жизнь, верно, жертва и жертва – и кому? Что он? Что видит в нем моя мать и почему предпочитает его всем другим женихам, которые мне здесь надоедают, и между которыми есть люди очень богатые, просвещенные и с прекрасным светским положением? Я просто не умею понять ничего этого и иду, яко овца, на заклание».

Долинский запечатал это письмо и отослал его Юлиньке; та получила его за обедом, и как взглянула, так и остолбенела.

– Что это? – спросила ее матроска, поднося к своим рачьим глазам упавшее на пол письмо. «Милая Устя!» – прочла она и сейчас же воскликнула: «А! верно, опять романтические сочинения!»

– Оставьте! – крикнула Юлинька и, вырвав из рук матери письмо, торопливо изорвала его в лепесточки.

– Да уж это так! Героиня!

Юлинька накинула на себя капот и шубку.

– Куда? – крикнула матроска. – К милому? Обниматься? Теперь прости, мол, голубчик!

– А хоть бы и обниматься! – отвечала, проходя, Юлинька и исчезла за дверью.

– Ты у меня. Викторина, смотри! – заговорила, стуча ладонью по столу, матроска. – Если еще ты, мерзавка, будешь похожа на эту змею, я тебя, шельму, пополам перерву. На одну ногу стану, а другую оторву.

Викторина молчала, а Юлинька в это время именно обнималась.

– Это была шутка, я нарочно хотела попытать мою глупенькую Устю, хотела узнать, что она скажет на такое вовсе не похожее на меня письмо; а они, сумасшедшие, подняли такой гвалт и тревогу! – говорила Юлинька, весело смеясь в лицо Долинскому.

Потом она расплакалась, упрекала жениха в подозрительности, довела его до того, что он же сам начал просить у нее прощения, и потом она его, как слабое существо, простила, обняла, поцеловала, и еще поцеловала, и столь увлеклась своею добротою, что пробыла у Долинского до полуночи.

Матроска ожидала дочь и, несмотря на поздний для нее час, с азартом вязала толстый шерстяной чулок. По сердитому стуку вязальных прутиков и электрическому трепетанию серого крысиного хвоста, торчавшего на матроскиной макушке, видно было, что эта почтенная дама весьма в тревожном положении. Когда у подъезда раздался звонок, она сама отперла

дверь, впустила Юлочку, не сказав ей ни одного слова, вернулась в залу, и только когда та прошла в свою комнату, матроска не выдержала и тоже явилась туда за нею.

– Ну, что ж? – спросила она, тяжело рассаживаясь на шупленьком креслице.

– Пожалуйста, не рвите чехла; его уж и так более чинить нельзя, – отвечала, мало обращая внимания на ее слова, Юлия.

– Не о чехлах, сударыня, дело, а о вас самих, – возвысила голос матроска, и крысиный хвостик закачался на ее макушке.

– Пожалуйста, беспокойтесь обо мне поменьше; это будет гораздо умнее.

– Да-с, но когда ж этот болван, наконец, решится? Юлинька помолчала и, спокойно свертывая косу под ночной чепец, тихо сказала:

– Дней через десять можете потребовать, чтобы свадьба была немедленно.

Матроска, прищутив глаза, язвительно посмотрела на свою дочь и произнесла:

– Значит, уж спроворила, милая?

– Делайте, что вам говорят, – ответила Юлинька и, бросив на мать совершенно холодный и равнодушный взгляд, села писать Усте ласковое письмо о ее непростительной легковёрности.

– Готов Максим и шапка с ним, – ядовито проговорила, вставая и отходя в свою комнату, матроска.

Через месяц Юлинька женила на себе Долинского, который, после ночного посещения его Юлинькой, уже не колебался в выборе, что ему делать, и решил, что сила воли должна заставить его загладить свое увлечение. Счастья он не ожидал, и его не последовало.

Месяца медового у Долинского не было. Юлинька сдерживалась с ним, но он все-таки не мог долго заблуждаться и видел беду неминуемую. А между тем Юлинька никак не могла полюбить своего мужа, потому что женщины ее закала не терпят, даже презирают в мужчинах характеры искренние и добрые, и эффектный порок для них гораздо привлекательнее; а о том, чтобы шадить мужа, хоть не любя, но уважая его, Юлинька, конечно, вовсе и не думала: окончив одну комедию, она бросалась за другою и входила в свою роль. Мать и сестру она оставила при себе, находя, что этак будет приличнее и экономнее. Викторина, действительно, была полезна в доме, а матроска нужна. Первые слезы Юлиньки пали на сердце Долинского за визиты ее родственникам и благодетелям, которых Долинский не хотел и видеть. Матроска влетела и ошипала Долинского, как мокрого петуха.

– Этак, милостивый государь, со своими женами одни мерзавцы поступают! – крикнула она, не говоря худого слова, на зятя. (Долинский сразу так и оторопел. Он сроду не слыхивал, чтобы женщина так выражалась.) – Ваш долг показать людям, – продолжала матроска, – как вы уважаете вашу жену, а не поворачиваться с нею, как вор на ярмарке. Что, вы стыдитесь моей дочери, или она вам не пара?

– Я думаю, мой долг жить с женою дружески, а не стараться кому-нибудь это показывать. Не все ли равно, кто что о нас думает?

– Покорно вас благодарю! Покорнейше-с вас благодарю-с! – замотав головою, разъярилась матроска. – Это значит – вам все равно, что моя дочь, что Любашка.

– Какая такая Любашка?

– Ну, что белье вам носила; думаете—не знаю?

– Фу, какая грязь!

– Да-с! А вы бы, если вы человек таких хороших правил, так не торопились бы до свадьбы-то в права мужа вступать, так это лучше бы-с было, честнее. А и тебе, дуре, ништо, ништо, ништо, – оборотилась она к дочери. – Рюмь, рюмь теперь, а вот, погоди немножко, как корсажи-то в платьях придется расставлять, так и совсем тебя будет прятать.

Долинский вскочил и послал за каретой. Юлинька делала визиты с заплаканными глазами, и своим угнетенным видом ставила мужа в положение весьма странное и неловкое. В откупном мире матроскиных благодетелей Долинский не понравился.

– Какой-то совсем неискательный, – отозвался о нем главный благодетель, которого Юлинька поклепала ухаживанием за нею.

Матроска опять дала зятю встрепку.

– Своих отрях, учителяшек, умеете примечать, а людей, которые всей вашей семье могут быть полезны, отталкиваете, – наступала она на Долинского.

Юлинька в глаза всегда брала сторону мужа и просила его не обращать внимания на эти грубые выходки грубой женщины. Но на самом деле каждый из этих маневров всегда производился по непосредственной инициативе и подробнейшим инструкциям самой Юлиньки. По ее соображениям, это был хороший и верный метод обезличить кроткого мужа, насколько нужно, чтобы распорядиться по собственному усмотрению, и в то же время довести свою мать до совершенной остылицы мужу и в удобную минуту поптстить его, так, чтобы не она, а он бы выгнал матроску и Викторинушку из дома. Роды первого ребенка показали Юлии, что муж ее уже обшколен весьма удовлетворительно, и что теперь она сама, без материного посредства, может обращаться с ним как ей угодно. Дней через двенадцать после родов, она вышла с сестрою из дома, гуляла очень долго, наелась султанских фиников и, возвратясь, заболела. Тут у нее в этой болезни оказались виноватыми все, кроме ее самой: мать, что не удержала; акушерка – что не предупредила, и муж, должно быть, в том, что не вернул ее домой за ухо.

– Я же чем виноват? – говорил Долинский.

– Вы ничем не виноваты!.. – крикнула Юлинька. – А вы съездили к акушеру? Расспросили вы, как держаться жене? Посоветовались вы... прочитали вы? Да прочитали вы, например, что-нибудь о беременной женщине? Вообще позаботились вы? Позаботились? Кому-с, я вас спрашиваю, я всем этим обязана?

– Чем? – удивлялся муж.

– Чем?.. – Ненавистный человек! Еще он спрашивает: *чем?*.. Только с нежностями своими противными умеет лезть, а удержать жену от неосторожности – не его дело.

– Я полагаю, что это всякая женщина сама знает, что через две недели после родов нельзя делать таких прогулок, – отвечал Долинский.

– Это у вас, ваши киевские тихони все знают, а я ничего не знала. Если б я знала более, так вы, наверно, со мною не сделали бы всего, что хотели.

– Ого-го-го! Забыли, видно, батюшка, ваши благородные деяния-то! – подхватила из другой комнаты матроска.

– Ах, убирайтесь вы все вон! – закричала Юлия. Долинский махал рукой и уходил к себе в конурку, отведенную ему для кабинета.

Автономии его решительно не существовало, и жизнь он вел прегорькую-горькую. Дома он сидел за работой, или выходил на уроки, а не то так, или сопровождал жену, или занимал ее гостей. Матроска и Юлинька, как тургеневская помещица, были твердо уверены, что супруги

Не друг для друга созданы:

Нет—муж устроен для жены,

и ни для кого больше, ни для мира, ни для себя самого даже. Товарищей Долинского принимали холодно, небрежно и, наконец, даже часто вовсе не принимали. Новые знакомства, завязанные Юлинькой с разными тонкими целями, не нравились Долинскому, тем более, что ради этих знакомств его заставляли быть «искательным», что вовсе было и не в натуре Долинского и не в его правилах. К тому же, Долинский очень хорошо видел, как эти новые знакомые часто бесцеремонно третировали его жену и даже нередко в глаза открыто смеялись над его тещей; но ни остановить чужих, ни обрезать своих он решительно не умел. А матроске положительно не везло в гостинной: что она ни станет рассказывать о своих аристократических связях – все выходит каким-то нелепейшим вздором, и к тому же, в этом же самом разговоре

вздумавшая аристократничать матроска, как нарочно, стеариновую свечу назовет *стерлиновою*, вместо сиропа – *суроп*, вместо камфина – *канхин*. Съездила матроска один раз в театр и после целый год рассказывала, что она была в театре на *Эспанском дворянине*; желая похвалиться, что ее Петрушу примут в училище Правоведения, она говорила, что его примут в училище *Праповедения*, и тому подобное, и тому подобное.

Прошел еще год, Долинский совсем стал неузнаваем. «Брошу», – решал он себе не раз после трепок за неискательность и недостаток средств удовлетворению расширявшихся требований Юлии Петровны, но тут же опять вставал у него вопрос: «а где же твердая воля мужчины?» Да в том-то и будет твердая воля, чтобы освободиться из этой уничтожающей среды, решал он, и сейчас же опять запрашивал себя: разве более воли нужно, чтоб уйти, чем с твердостью и достоинством выносить свое тяжкое положение? А между тем явился другой ребенок. Долинский, в качестве отца двух детей, стал подвергаться сугубому угнетению и, наконец, не выдержал и собрался ехать с письмами жениных благодетелей в Петербург. Долинский собрался скоро, торопливо, как бы боялся, что он останется, что его что-то задержит. Приехав в Петербург, он никуда не пошел с письмами благодетелей, но освежился, одумался и в откровенную минуту высказал все свое горе одному старому своему детскому товарищу, земляку и другу, художнику Илье Макаровичу Журавке, человеку очень доброму, пылкому, суетливому и немножко смешному.

– Одно средство, братец мой, вам друг с другом расстаться, – отвечал, выслушав его исповедь, Журавка.

– Это, Ильюша, легко, брат, сказать.

– А сделать еще легче.

Долинский походил и в раздумье произнес:

– Не могу, как-то все это с одной, будто, стороны так, а с другой – опять.

– Пф! Да брось, братец, брось, вот и вся недолга, либо заплесневешь, бабы ездить на тебе будут! – восклицал Журавка.

Поживя месяц в Петербурге, Долинский чувствовал, что, действительно, нужно собрать всю волю и уйти от людей, с которыми жизнь мука, а не спокойный труд и не праздник.

– Ну, положим так, – говорил он, – положим, я бы и решился, оставил бы жену, а детей же как оставить?

– Детей обеспечить, братец.

– Чем, чем, Илья Макарыч?

– Деньгами, разумеется.

– Да какие же деньги, где я их возьму?

– Пф! Хочешь десять тысяч обеспечения, сейчас, хочешь?

– Ну, ну, давай.

– Нет, ты говори коротко и узловато: хочешь или не хочешь?

– Да, давай, давай.

– Стало быть, хочешь?

– Да уж, конечно, хочу.

– Идет, и да будет тебе, яко же хоцещи! Послезавтра у твоих детей десять тысяч обеспечения, супруге давай на детское воспитание, а сам живи во славу божию; ступай в Италию, там, брат, итальяночки... уухх, одними глазами так и вскипятит иная! Я тебе скажу, наши-то женщины, братец, ведь, если по правде говорить, все-таки, ведь, дрянь.

– А я думаю, – говорил на другой день Долинский Журавке, – я думаю, точно ты прав, надо, ведь, это дело покончить.

– Да как же, братец, не надо?

– То-то, я всю ночь продумал и...

– Ты, пожалуйста, уж лучше и не раздумывай.

Через два дня в руках Долинского был полис на его собственную жизнь, застрахованную в десять тысяч рублей, и предложение редакции одного большого издания быть корреспондентом в Париже.

Долинский, как все несильные волею люди, старался исполнить свое решение как можно скорее. Он переменял паспорт и уехал за границу. Во все это время он ни малейшим образом не выдал себя жене; извещал ее, что он хлопочет, что ему дают очень выгодное место, и только в день своего отъезда вручил Илье Макаровичу конверт с письмом следующего содержания:

«Я, наконец, должен сказать вам, что я нашел себе очень выгодное место и отправляюсь к этому месту, не заезжая в Москву. Главная выгода моего места заключается в том, что вы его никогда не узнаете, а если узнаете, то не можете меня более мучить и терзать. Я вас оставляю навсегда за ваш дурной нрав, жестокость и лукавство, которые мне ненавистны и которых я более переносить не могу. Ссориться и браниться я не приучен, а на великодушные, хотя бы даже в далеком будущем, я не надеюсь, и потому просто бегу от вас. На случай моей смерти оставляю моему изведенному другу полис страхового общества, которое уплатит моим детям десять тысяч рублей; а пока жив, буду высылать вам на их воспитание столько, сколько позволят мне мои средства.

Не выражаю вам никаких доброжелательств, чтобы вы не приняли их за насмешку, но ручаюсь вам, что не питаю к вам, ни к вашему семейству ни малейшей злобы. Я хочу только, чтобы мы, как люди совершенно несходных характеров и убеждений, не мешали друг другу, и вы сами вскоре увидите, что для вас в этом нет решительно никакой потери. Я знаю, что я неспособен ни соорудить себе служебную карьеру, ни нажить денег, с которыми можно бы не нуждаться. Вы ошиблись во мне, я – в вас. Не будемте бесполезно упрекать ни себя, ни друг друга, и простимтесь, утешая себя, что перед нами раскрывается снова жизнь, если и не счастливая, то, по крайней мере, не лишенная того высшего права, которое называется свободой совести и которое, к несчастью, люди так мало уважают друг в друге. *С.-Петербург Н. Долинский*».

Так покончилась семейная жизнь человека, встреченного Дорушкой уже после четырехлетнего его житья в Париже.

В Россию Долинский еще боялся возвращаться, потому что даже и из-за границы ему два или три раза приводилось давать в посольстве неприятные и тяжелые объяснения по жалобам жены.

## Глава четвертая

### Главные лица романа знакомятся ближе

Продолжаем прерванную повесть.

Дом, в котором Анна Михайловна со своей сестрой жила в Париже, был из новых домов rue de l'Ouest.<sup>4</sup> В нем с улицы не было ворот, но тотчас, перешагнув за его красиво отделанные, тяжелые двери, открывался маленький дворик, почти весь занятый большой цветочной клумбой; направо была красивенькая клетка, в которой жила старая concierge,<sup>5</sup> а налево дверь и легкая спиральная лестница. Через два дня после свидания с Прохоровыми, Долинский с не совсем довольным лицом медленно взбирался по этой ажурной лестнице и позвонил у одной двери в третьем этаже. Его ввели через небольшой коридорчик в очень просторную и хорошо меблированную комнату, переделенную густой шерстяной драпировкой.

По комнате, на диване и на стульях, лежали кучи лент, цветов, синели, рюшу и разной галантерейщины; на столе были набросаны выкройки и узоры, перед которыми, опустив в раздумье голову, стояла сама хозяйка. Немного нужно было иметь проницательности, чтобы отгадать, что Анна Михайловна стоит в этом положении не одну минуту, но что не узоры и не выкройки занимают ее голову.

При входе Долинского Анна Михайловна покраснела, как институтка, и сказала:

– Ах, извините бога ради, у нас такой ерлашный беспорядок.

Долинский ничего не ответил на это, но, взглянув на Анну Михайловну, только подумал: «а как она дивно хороша, однако».

Анна Михайловна была одета в простое коричневое платье с высоким лифом под душу, и ее черные волосы были гладко причесаны за уши. Этот простой убор, впрочем, шел к ней необыкновенно, и прекрасная наружность Анны Михайловны, действительно, могла бы остановить на себе глаза каждого.

– Пожалуйста, садитесь, сестры дома нет, но она сейчас должна вернуться, – говорила Анна Михайловна, собирая со стола свои узоры.

– Я, кажется, совсем не вовремя? – начал Долинский.

– А, нет! Вы, пожалуйста, не обращайтесь на это внимания, мы вам очень рады. Долинский поклонился.

– Дорушка еще вчера вас поджидала. Вы курите?

– Курю, если позволите.

– Сделайте милость. Долинский зажег папироску.

– Дора все не дождетя, чтобы помириться с вами, – начала хозяйка.

– Это, если я отгадываю, все о луврской еще встрече?

– Да, сестра моя ужасно сконфужена.

– Это пресмешной случай.

– Ах, она такая...

– Непосредственная, кажется, – подсказал, улыбаясь, Долинский.

– Даже чересчур иногда, – заметила снисходительно Анна Михайловна. – Но вы не поверите, как ей совестно, что она наделала.

Долинский хотел ответить, что об этом даже и говорить не стоит, но в это время послышался колокольчик и звонкий контральт запел в коридорчике:

Если жизнь тебя обманет, Не печалься, не сердись, В день несчастья смирись, День веселья, верь, настанет.

---

<sup>4</sup> Западной улицы (франц.)

<sup>5</sup> Привратница (франц.)

– Вот и она, – сказала Анна Михайловна. На пороге показалась Дорушка в легком белом платье со своими оригинальными красноватыми кудрями, распущенными по воле, со снятой с головы соломенной шляпой в одной руке и с картонкой в другой.

– А-а! – произнесла она протяжно при виде Долинского и остановилась у двери. Гость встал со своего места.

– Стар... Стар... нет, все не могу выговорить вашего имени.

– Нестор, – произнес, рассмеявшись, Долинский.

– Да, да, есть Нестор-Летописец.

– То есть – был; но это во всяком случае не я.

– Я это уж сообразила, что вы, должно быть, совершенно отдельный, особенный Нестор. Ах, Нестор Игнатьич, я перед вами на колени сейчас опущусь, если вы меня не простите.

– Помилуйте, вы только заставляете меня краснеть от этих ваших просьб.

– О, если вы это без шуток говорите, то вы просто покорите мое сердце своею добродетелью.

– Уверю вас, что я уж забыл об этом.

– В таком случае, Полканушка, дай лапу. Анна Михайловна неодобрительно качнула головою, на что не обратили внимания ни Долинский, ни Дорушка, крепко и весело сжимавшие поданные друг другу руки.

– А моя сестра уж, верно, морщится, что мы дружимся, – проговорила Дора и, взглянув в лицо сестры, добавила, – так и есть, вот удивительная женщина, никогда она, кажется, не будет верить, что я знаю, что делаю.

– Ты знала, что делала, и тогда, когда рассуждала о monsieur Долинском.

– Это в первый раз случилось, но, впрочем, вот видишь, как все хорошо вышло: теперь у меня есть русский друг в Париже. Ведь, мы друзья, правда?

– Правда, – отвечал Долинский.

– Вот видишь, Аня. Я говорю, что всегда знаю, что я делаю. Я женщина практичная – и это правда. Вы хотите маронов? – спросила она Долинского, опуская в карман руку.

– Нет-с, не хочу.

– Тепленькие совсем еще.

– Все-таки покорно вас благодарю.

– Зачем ты покупаешь эту дрянь, Дора? – вмешалась Анна Михайловна.

– Я совсем их не покупаю, это мне какой-то француз подарил.

– Какой это у тебя еще француз завелся?

– Не знаю, глупый, должно быть, какой-то, далеко-далеко меня провожал и все глупости какие-то врет. Завтракать с собой звал, а я не пошла, велела себе тут, на этом углу, в лавочке, маронов купить и пожелала ему счастливо оставаться на улице.

– Вот видите, как она знает, что делать, – произнесла Анна Михайловна. – Только того и ждешь, что налетит на какую-нибудь историю.

– Пустяки это, съедомое всегда можно брать, особенно у француза.

– Почему же особенно у француза?

– Потому что он, во-первых, глух, а, во-вторых, это ему удовольствие доставляет.

– И тебе тоже?

– Некоторое.

– А если этот француз тебе сделает дерзость?

– Не смеет.

– Отчего же не смеет?

– Так, не смеет – да и только. Вы давно за границей? – обратилась она опять к Долинскому.

– Скоро четыре года.

– Ой, ой, ой, это одуреть можно. Анна Михайловна засмеялась и сказала:

– Вы уж, monsieur Долинский, теперь нас извиняйте за выражения; мы, как видите, скоро дружимся и, подружившись, все церемонии сразу в сторону.

– Сразу, – серьезно подтвердила Дора.

– Да, у нас с Дарьей Михайловной все вдруг делается. Я того и гляжу, что она когда-нибудь пойдет два аршина лент купить, а мимоходом зайдет в церковь, да с кем-нибудь обвенчается и вернется с мужем.

– Нет-с, этого, душенька, не случится, – отвечала, сморщив носик, Дора.

– Ох, а все-таки что-то страшно, – шутила Анна Михайловна.

– Во-первых, – выкладывала по пальцам Дора, – на мне никогда никто не женится, потому что по множеству разных пороков я неспособна к семейной жизни, а, во-вторых, я и сама ни за кого не пойду замуж.

– Какое суровое решение! – произнес Долинский.

– Самое гуманное. Я знаю, что я делаю; не беспокойтесь. Я уверена, что я в полгода или бы уморила своего мужа, или бы умерла сама, а я жить хочу – жить, жить и петь.

Дорушка подняла вверх ручку и пропела: Золотая волюшка мне милей всего. Не надо мне с волею в свете ничего.

– Вот, – начала она, – я почти так же велика, как Шекспир. У него Гамлет говорит, чтоб никто не женился, а я говорю – пусть никто не выходит замуж. Совершенно справедливо, что если выходить замуж, так надо выходить за дурака, а я дураков терпеть не могу.

– Почему же непременно за дурака? – спросил Долинский.

– А потому, что умные люди больше не будут жениться.

– Триста лет близко, как наш Гамлет положил зарок людям не жениться, а видите, все люди и женятся, и замуж выходят.

– Ну, да, все потому, что люди еще очень глупы, потому что посвистывает у них в лбах-то, – резонировала Дора. – Умный человек всегда знает, что он делает, а дураки – дураки всегда охотники жениться. Ведь, вы вот, полагаю, не женитесь?

– Нет-с, не женюсь, – отвечал, немного покраснев, Долинский.

– А-а, то-то и есть. Даже вон в краску вас бросило при одной мысли, а скажите-ка, отчего вы не женитесь? Оттого, что вы не хотите попасть в дураки?

– Нет, оттого, что я женат, – еще более покраснев и засмеявшись, отвечал Долинский.

Дорушка быстро откинулась, значительно закусила свою нижнюю губку и, вспрыгнув со своего места, юркнула за драпировку.

Долинский обтирал выступивший у него на лбу пот и смеялся самым веселым, искренним смехом. Анна Михайловна сидела совершенно переконфуженная и ворочала что-то в своей рабочей корзинке. Щеки ее до самых ушей были покрыты густым пунцовым румянцем.

Секунды три длилась тихая пауза.

– Нет, это уж черт знает что такое! – крикнула из-за драпировки Дорушка голосом, в котором звучали и насилию сдерживаемый смех, и досада.

– Да, все это оттого, что ты всегда знаешь, что ты делаешь! – тихо проговорила с упреком Анна Михайловна.

Долинский опять рассмеялся и вслед за тем послышался несдержанный смех самой Доры. Анне Михайловне тоже изменила ее физиономия, она улыбнулась и с упреком проронила:

– Чудо, как умно!

– Что ж, «чудо, как умно!» — заговорила, появляясь между полами драпировки, смеющаяся Дора.

– Очень умно, – повторила Анна Михайловна.

– Да разве же я виновата, – оправдывалась Дора, – что настал такой век, что никак не напасешься? Кто их знает, как они так женятся, что это по ним незаметно! Ну, чего, ну, что это

вы женились и не рассказываете об этом приятном происшествии? – обратилась она к смеющемуся Долинскому и сама расхохоталась снова.

– Да нет, это вы вышиваете, – продолжила она, махнув ручкой.

– Ну, не верьте.

– И не верю, – отвечала Дора. – Мне даже этак удобнее.

– Что это, не верить?

– Конечно; а то, господи, что же это в самом деле за напасть такая! Опять бы надо во второй раз перед одним и тем же господином извиняться. Не верю.

– Да совершенно не в чем-с извиняться. Вы мне только доставили искреннее удовольствие посмеяться, как я давно не смеялся, – отвечал Долинский.

Хозяйки, по-русски, оставили Долинского у себя отобедать, потом вместе ходили гулять и продержали его до полночи. Дорушка была умна, резва и весела. Долинский не заметил, как у него прошел целый день с новыми знакомыми.

– Вы, Дарья Михайловна, бываете когда-нибудь и грустны? – спросил он ее, прощаясь.

– Ой, ой, и как еще! – отвечала за нее сестра.

– И тогда уж не смеетесь?

– Черной тучею смотрит.

– Грозна и величественна бываю. Приходите почаще, так я вам доставлю удовольствие видеть себя в мрачном настроении, а теперь adieu, mon plaisir,<sup>6</sup> спать хочу, – сказала Дорушка и, дружески взяв руку Долинского, закричала портьеру: «Откройте».

---

<sup>6</sup> До свидания, моя радость (франц)

## Глава пятая

### Кое-что о чувствах

Прошел месяц, как наш Долинский познакомился с сестрами Прохоровыми. Во все это время не было ни одного дня, когда бы они не видались. Ежедневно, аккуратно в четыре часа, Долинский являлся к ним и они вместе обедали, вместе гуляли, читали, ходили в театры и на маленькие балки, которые очень любила наблюдать Дора. Анна Михайловна, со своими хлопотами о закупках для магазина, часто уклонялась от так называемого Дорою «шлянья» и предоставляла сестре мыкаться по Парижу с одним Долинским. Знакомство этих трех лиц в этот промежуток времени, действительно, перешло в самую короткую и искреннюю дружбу.

– Чудо, как весело мы теперь живем! – восклицала Дора.

– Это правда, – отвечал необыкновенно повеселевший Нестор Игнатьевич.

– А все, ведь, мне, всем обязаны.

– Ну, конечно-с, вам, Дарья Михайловна.

– Разумеется; а не будь вы такой пентюх, все могло бы быть еще веселее.

– Что ж я, например, должен бы делать, если б не имел чина пентюха?

– Это вы не можете догадаться, что бы вы должны делать? Вы, милостивый государь, даже из вежливости должны бы в которую-нибудь из нас влюбиться, – говорила ему не раз, расшалившись, Дорушка.

– Не могу, – отвечал Долинский.

– Отчего это не можете? Как бы весело-то было, чудо?

– Да вот видеть чудес-то я именно и боюсь.

– Э, лучше скажите, что просто у вас, батюшка мой, вкуса нет, – шутила Дора.

– Ну, как тебе не стыдно, Дора, уши, право, вянут слушать, что ты только врешь, – останавливала ее в таких случаях скромная Анна Михайловна.

– Стыдно, мой друг, только красть, лениться да обманывать, – обыкновенно отвечала Дора.

Мрачное настроение духа, в котором Дорушка, по ее собственным словам, была *грозна* и *величественна*, во все это время не приходило к ней ни разу, но она иногда очень упорно молчала час и другой, и потом вдруг разрешалась вопросом, показывавшим, что она все это время думала о Долинском.

– Скажите мне, пожалуйста, вы в самом деле женаты? – спросила она его однажды после одного такого раздумья.

– Без всяких шуток, – отвечал ей Долинский.

Дорушка пожала плечами.

– Где же теперь ваша жена? – спросила она опять после некоторой паузы.

– Моя жена? Моя жена в Москве.

– И вы с ней не видались четыре года?

– Да, вот скоро будет четыре года.

– Что ж это значит? Вы с нею, вероятно, разошлись?

– Дора! – остановила Анна Михайловна.

– Что ж тут такого обидного для Нестора Игнатьича в моем вопросе? Дело ясное, что если люди по собственной воле четыре года кряду друг с другом не видятся, так они друг друга не любят. Любя—нельзя друг к другу не рваться.

– У Нестора Игнатьича здесь дела.

– Нет, что ж, Анна Михайловна, я, ведь, вовсе не вижу нужды секретничать. Вопрос Дарьи Михайловны меня нимало не смущает: я, действительно, не в ладах с моей женой.

– Какое несчастье, – проговорила с искренним участием Анна Михайловна.

– И вы твердо решились никогда с нею не сходиться? – допрашивала, серьезно глядя, Дора.

– Скорее, Дарья Михайловна, земля сойдется с небом, чем я со своей женой.

– А она любит вас?

– Не знаю; полагаю, что нет.

– Что ж, она изменила вам, что ли?

– Дора! Ну, да что ж это, наконец, такое! – сказала, порываясь с места, Анна Михайловна.

– Не знаю я этого, и знать об этом не хочу, – отвечал Долинский, – какое мне до нее теперь дело, она вольна жить, как ей угодно.

– Значит, вы ее не любите? – продолжала с прежним спокойствием Дорушка.

– Не люблю.

– Вовсе не любите?

– Вовсе не люблю.

– Это вам так кажется, или вы в этом уверены?

– Уверен, Дарья Михайловна.

– Почему же вы уверены, Нестор Игнатьич?

– Потому, что... я ее ненавижу.

– Гм! Ну, этого еще иногда бывает маловато, люди иногда и ненавидят, и презирают, а все-таки любят.

– Не знаю; мне кажется что даже и слова *ненавидеть* и *любить* в одно и то же время вместе не вяжутся.

– Да, рассуждайте там, вяжутся или не вяжутся; что вам за дело до слов, когда это случается на деле; нет, а вы попробовали ли себя спросить, что если б ваша жена любила кого-нибудь другого?

– Ну-с, так что же?

– Как бы вы, например, смотрели, если бы ваша жена целовала своего любовника, или... так, вышла что ли бы из его спальни?

– Дора! Да ты, наконец, решительно несносна! – воскликнула Анна Михайловна и, вставши со своего места, подошла к окошку.

– Смотрел бы с совершенным спокойствием, – отвечал Долинский на последний вопрос Дорушки.

– Да, ну, если так, то это хорошо! Это, значит, дело капитальное, – протянула Дора.

– Но смешно только, – отозвалась со своего места Анна Михайловна, – что ты придаешь такое большое значение ревности.

– Гадкому чувству, которое свойственно только пустым, щепетильно-самолюбивым людишкам, – подкрепил Долинский.

– Толкуйте, господа, толкуйте; а отчего, однако, это гадкое чувство переживает любовь, а любовь не переживает его никогда?

– Но, тем не менее, все-таки оно гадко.

– Да я же и не говорю, что оно хорошо; я только хотела попробовать им вашу любовь, и теперь очень рада, что вы не любите вашей жены.

– Ну, а тебе что до этого? – укоризненно качая головой, спросила Анна Михайловна.

– Мне? Мне ничего, я за него радуюсь. Я вовсе не желаю ему несчастья.

– Какие ты сегодня глупости говорила, Дора, – сказала Анна Михайловна, оставшись одна с сестрою.

– Это ты о Долинском?

– Да, разумеется. Почему ты знаешь, какая его жена? Может быть, она самая прекрасная женщина.

– Нет, этого не может быть: он не такой человек, чтобы мог бросить хорошую женщину.

– Да откуда ты его знаешь?

– Ах, господи боже мой, разве я дура, что ли?

– Ну, а бог его знает, какой у него характер?

– Детский; да, впрочем, какой бы ни был, это ничего не значит: ум и сердце у него хорошие, – это все, что нужно.

– Нет; а ты пресентиментальная особа, Аня, – начала, укладываясь в постель, Дорушка. – У тебя все как бы так, чтоб и волк наелся и овца б была целою.

– А, конечно, это всего лучше.

– Да, очень даже лучше, только, к несчастью, вот досадно, что это невозможно. Уж ты поверь мне, что его жена – волк, а он – овца. В нем есть что-то такое до беспредельности мягкое, кроткое, этакое, знаешь, как будто жалкое, мужской ум, чувства простые и теплые, а при всем этом он дитя, правда?

– Да, кажется. Мне и самой иногда очень жаль его почему-то.

– А, видишь! Мы—чужие ему, да нам жаль его, а ей не жаль. Ну, что ж это за женщина?

Анна Михайловна вздохнула.

– Страшный ты человек, Дора, – проговорила она после минутного молчания.

– Поверь, Аничка, – отвечала, приподнявшись с подушки на локоть, Дора, – что вот этакое твое мягкосердечие-то иной раз может заставить тебя сделать более несправедливости.

А по-моему, лучше кого-нибудь спасать, чем над целым светом охать.

– Я живу сердцем, Дора, и, может быть, очень дурно увлекаюсь, но уж такая я родилась.

– А я разве не сердцем живу, Аня? – ответила Дорушка и заслонила рукою свечку.

– А, ведь, он очень хорош, – сказала через несколько минут Дора.

– Да, у него довольно хорошее лицо, – тихо отвечала Анна Михайловна.

– Нет, он просто очаровательно хорош.

– Да, хорош, если хочешь.

– Какие-то притягивающие глаза, – произнесла после короткой паузы Дора, щурия на огонь свои собственные глазки, и молча задула свечу.

– Люблю такие тихие, покорные лица, – досказала она, ворочаясь впотьмах с подушкой.

– Ну, что это, Дора, сто раз повторять про одно и то же! Спи, сделай милость, – отвечала ей Анна Михайловна.

## Глава шестая

### Роман чуть не прерывается в самом начале

Доходил второй месяц знакомству Долинского с Прохоровыми, и сестры стали собираться назад в Россию. Долинский помогал им в их сборах. Он сдал комиссионеру все покупки, которые нужно было переслать Анне Михайловне через все таможенные мытарства в Петербург; даже помогал им укладывать чемоданы; сам напрашивался на разные мелкие поручения и вообще расставался с ними, как с самыми добрыми и близкими друзьями, но без всякой особенной грусти, без горя и досады. Отношения его к обеим сестрам были совершенно ровны и одинаковы. Если с Дорушкой он себя чувствовал несколько веселее и сам оживлялся в ее присутствии, зато каждое слово, сказанное тихим и симпатическим голосом Анны Михайловны, веяло на него каким-то невозмутимым, святым покоем, и Долинский чувствовал силу этого спокойного влияния Анны Михайловны не менее, чем энергическую натуру Доры.

Дорушка не заводила более речи о браке Долинского, и только раз, при каком-то рассказе о браке, совершившемся из благодарности, или из какого-то другого весьма почтенного, но бесстрастного чувства, сказала, что это уж из рук вон глупо.

– Но благородно, – заметила сестра.

– Да, знаешь, уж именно до подлости благородно, до самоубийства.

– Самопожертвование!

– Нет, Аня, – глупость, а не самопожертвование. Из самопожертвования можно дать отрубить себе руку, отказаться от наследства, можно сделать самую безумную вещь, на которую нужна минута, пять, десять... ну, даже хоть сутки, но хроническое самопожертвование на целую жизнь, нет-с, это невозможно. Вот вы, Нестор Игнатьич, тоже не из сострадания ли женились? – отнеслась она к Долинскому.

– Нет, – отвечал Долинский, стараясь сохранить на своем лице как можно более спокойствия.

Анна Михайловна и Дорушка обе пристально на него посмотрели.

– Пожалуй, что и да, мой батюшка; от него и это могло стать, – произнесла несколько комическим тоном Дора.

Долинский сам рассмеялся и сказал:

– Нет, право, нет, я не так женился.

За день до отъезда сестер из Парижа Долинский принес к ним несколько эстампов, вложенных в папку и адресованных: *Илье Макаровичу Журавке, по 11-й линии, дом Клемснца.*

– Скажите, какой скромник! – воскликнула Дорушка, прочитав адрес. – Скоро два месяца знакомы и ни разу не сказал, что он знает Илью Макаровича.

– Разве и вы его знаете?

– Кого? Журавку? Это наш друг, – отозвалась Анна Михайловна. – Я его кума, детей его крестила. У нас даже есть портреты его работы.

– Как же он мне ничего не говорил о вас?

– Из ревности, – вмешалась Дорушка. – Он, ведь, бедный Ильюша, влюблен в Аню.

– Право?

– По уши.

Последний день Долинский провел у Прохоровых с самого утра. Вместе пообедав, они сели в несколько опустевшей комнате, и всем им разом стало очень невесело.

– Ну, помните, дитя мое, все, чему я вас учила, – пошутила Дорушка, глядя Долинского по голове.

– Слушаю-с, – отвечал Долинский.

– Не хандрите, работайте и самое главное – непременно влюбитесь.

- Последнего только, самого-то главного, и не обещаю.
- Отчего?
- Смысла не вижу.
- Какой же вам надо смысл для любви? Разве любовь сама по себе не есть смысл, смысл жизни.
- Я не могу любить, Дарья Михайловна, права не имею давать в себе места этому чувству.
- Это право принадлежит каждому живущему.
- Не совсем-с. Например, в какой мере может пользоваться этим правом человек, обязанный жить и трудиться для своих детей?
- А, так и эта прелесть есть в вашем положении?
- У меня двое детей.
- Да, это кое-что значит.
- Нет, это *очень много* значит, – отозвалась Анна Михайловна.
- Н-н-ну, не знаю, отчего так уж очень много. Можно любить и своих прежних детей, и женщину.
- Да, если бы любовь, которая, как вы говорите, сама по себе есть цель-то, или главный смысл нашей жизни, не налагала на нас известных обязанностей.
- Что-то не совсем понятно.
- Очень просто! Всей моей заботливости едва достаёт для одних моих детей, а если её придется еще разделить с другими, то всем будет мало. Вот почему у меня и выходит, что нельзя любить, следует бежать от любви.
- Да это дико! Это просто дико!
- И очень честно, очень благородно, – вмешалась Анна Михайловна. – С этой минуты, Нестор Игнатьич, я вас еще более уважаю и радуюсь, что мы с вами познакомились. Дора сама не знает, что она говорит. Лучше одному тянуть свою жизнь, как уж бог ее устроил, нежели видеть около себя кругом несчастных, да слышать упреки, видеть страдающие лица. Нет, боже вас спаси от этого!
- Нет, извините, господа, это вы-то, кажется, не знаете, что говорите! Любовь, деньги, обеспечения... Фу, какой противоестественный винегрет! Все это очень умно, звучно, чувствительно, а самое главное то, что все это *ce sont des*<sup>7</sup> пустяки. Кто ведет свои дела умно и решительно, тот все это отлично уладит, а вы, милшечки мои, сами неудобь какая-то, оттого так и рассуждаете.
- Дарья Михайловна смотрит на все очень уж молодо, смело чересчур, снисходительно, – проговорил Долинский, относясь к Анне Михайловне.
- Крылышки у нее еще непоматы, – отвечала Анна Михайловна.
- Именно; а пуганая ворона, как говорит пословица, и куста боится.
- Вот, вот, вот! Это—самое лучшее средство разрешать себе все пословицами, то есть чужим умом! Ну, и поздравляю вас, и оставайтесь вы при своем, что *вороны куста боятся*, а я буду при том, что *соколу лес не страшен*. Ведь, это тоже пословица.
- Долинский простился с Прохоровыми у вагона северной железной дороги, и они дали слово иногда писать друг Другу.
- Прощайте, пуганая ворона! – крикнула из окна Дорушка, когда вагоны тронулись.
- Летите, летите, мой смелый сокол.
- Посмотрев вслед уносившемуся поезду, Долинский обернулся, и в эту минуту особенно тяжело почувствовал свое одиночество, почувствовал его сильнее, чем во все протекшие четыре года. Не тихая тоска, а какое-то зло на свое сиротство, желчная раздражительная скука охватила его со всех сторон. Он заехал на старую квартиру Прохоровых, чтобы взять оставленные

---

<sup>7</sup> Есть (франц.)

там книги, и пустые комнаты, которые мела француженка, окончательно его сдавили; ему стало еще хуже. Долинский зашел в кафе, выпил два грога и, возвратясь домой, заснул крепким сном.

Опять он оставался в Париже один-одинешенек, утомленный, разбитый и безотрадно смотрящий на свое будущее.

«Вернуться бы уж, что ли, самому в Россию?» – подумал он, лежа на другое утро в постели.

«Да как вернуться? Того гляди, историю сделает. Нет уж, – размышлял он, переворачивая, по своему обыкновению, каждый вопрос со всех сторон, – нужно иметь над собою власть и мыкать здесь свое горе. Все же это достойнее, чем не устоять против скуки и опять рисковать попасться в какую-нибудь гадкую историю».

## Глава седьмая

### Дора знает, что делает

Так по-прежнему скучно, тоскливо и одиноко прожил Долинский еще полгода в Париже. В эти полгода он получил от Прохоровых два или три малозначащие письма с шутивными приписками Ильи Макаровича Журавки. Письма эти радовали его, как доказательства, что там, на Руси, у него все-таки есть люди, которые его помнят; но, читая эти письма, ему становилось еще грустнее, что он оторван от родины и, как изгнанник какой-нибудь, не смеет в нее возвратиться без опасения для себя больших неприятностей.

Наконец, в один прекрасный день, Нестор Игнатьевич получил письмо, которое сначала его поразило, а потом весьма порадовало и дало ему толчок, которого давно ждала его робкая, нерешительная натура.

Письмо это с начала до конца было писано Доружкой, без всякой сторонней приписки.

«Нестор Игнатьевич (писала Дора Долинскому)! Я никак не могу себе определить, очень умно или до крайности глупо я поступаю, что пишу к вам это письмо; но не могу удержаться и все-таки пишу его. Когда я сказала моим и вашим друзьям, то есть Ане и Илье Макаровичу, что вас непременно надо немедленно известить о том, о чем вы теперь узнаете из этого письма, то они подняли такой гвалт, что с ними не стоило спорить и приходилось бы отказаться от всякого намерения посвятить вас в ваши же собственные дела. Но мой грешный разум и тайный голос моего сердца, которых я привыкла слушаться, склонили меня к преступлению против Ани и Ильи Макаровича. Я пишу вам это письмо тайно от них и прошу вас это хорошенько запомнить.

Дело идет, конечно, о вас и заключается в том, что ваших детей, на воспитание которых вы высылаете деньги, уже четвертый год не существует на свете, а жена ваша тоже около года живет в Эмсе со старым богачом, откупщиком Штульцем. Дети ваши почти оба разом умерли от крупа, вскоре после вашего отъезда из Москвы, а у вашей жены за границей родился новый ребенок, на которого откупщик Штулец (какой-то задушевный приятель родственников вашей жены) дал очень серьезную сумму. Говорят, что этой суммой на целую жизнь прочно обеспечены и мать и ребенок.

Все эти аккуратно и достоверно собранные сведения привез нам Илья Макарович, который на днях ездил в Москву реставрировать какую-то вновь открытую из-под старой штукатурки допотопную фреску. Обстоятельства эти мне показались очень важными для вас, и я настаивала, чтобы известить вас обо всем этом подробно; но и сестра, а за нею и милейший друг наш Журавка завопили: „нельзя! невозможно! это все нужно исподволь, да другими путями, чтобы не сразить вас и не попасть самим в сплетники“. Я не могла с ними совладеть, но и не могла с ними согласиться, потому что все это, мне кажется, должно иметь для вас очень большое и, по-моему, не совсем грустное значение. А для того, чтобы на свете не было сплетен, я думаю, самое лучшее дело – как можно более сплетничать. Это одно только может отучить людей распускать запечные слухи. Хочу думать, Нестор Игнатьевич, что я вас понимаю и не делаю ошибки, посылая к вам это конфиденциальное послание. *Пребываю к вам благосклонная Дора».*

«P. S. Наш независимый Илья Макарович продолжает все более и более терять независимость от своей Грациэллы и приходит к нам довольно редко и то урывком».

В ответ на это письмо Долинский написал Доре: «Вы прекрасно сделали, Дарья Михайловна, что послушались самих себя и известили меня о происшествиях в моей семье. Сразить меня это никак не могло. Детей, разумеется, жалко, но если подумать, что их могло ожидать при семейном разладе родителей, то, может быть, для них самих лучше, что они умерли в самые ранние годы. А что касается до моей жены, то я был всегда уверен, что она устроится самым лучшим и выгодным для нее образом. Я очень рад за нее и не сомневаюсь, что она поведет свои дела прекрасно. Для меня же теперь исчезают препятствия к возвращению на родину, и я через месяц надеюсь лично поблагодарить вас за оказанную мне услугу».

– Да ты, стало быть, в самом деле иногда знаешь, что делаешь, – сказала Анна Михайловна, когда Дора, получив письмо Долинского, сама открыла свой секрет.

Не прошло и месяца, как один раз, густыми осенними сумерками, Журавка влез в маленькую столовую Анны Михайловны, где сидели хозяйка и Дора, и закричал:

– Неудобь наше приехало.

– Долинский! Где же он? – спросили вместе обе сестры.

В эту же минуту в темной раме дверей показалась фигура без облика; но, взглянув на эту фигуру, и Дорушка, и Анна Михайловна разом закричали: «Нестор Игнатьевич, это вы?»

– Я, Анна Михайловна, – отвечал Долинский, целуя руки обеих сестер.

– Когда приехали?

– Сегодня в четыре часа.

– А теперь шесть; это очень мило, – похвалила Дорушка. – А мы вас здесь, знаете, как прозвали? «Неудобь». Долинский махнул рукой и сказал:

– Уж это хоть не спрашивай – Дарья Михайловна выдумала.

– Пф! Сразу, шельмец, узнал, – воскликнул Журавка, и тотчас же, нагнувшись к уху Анны Михайловны, прошептал:

– Вы нам, кумушка, чайшка дадите, а я тем часом тут слетаю; всего на одну минуточку слетаю и ворочусь; делишко есть у Пяти Углов.

– Летите, летите, – отвечала ему Анна Михайловна, и художник юркнул.

Обе хозяйки были необыкновенно радушны с Долинским. Они его внимательно расспрашивали, как ему жилось, что он думал, что видел?

Долинский давно не чувствовал себя так хорошо: словно он к самым добрым, к самым теплым родным приехал. Подали свечи и самовар; Дорушка села за чай, а Анна Михайловна повела Долинского показать ему свою квартиру.

Квартира Анны Михайловны помещалась в одном из лучших домов на Владимирском проспекте. Эта квартира состояла из шести прекрасных комнат в бельэтаже, с параднейшим подъездом с улицы. Самая большая комната с подъезда была занята магазином. Здесь стояли шкапы, шифоньерки, подставки и два огромных, дорогих трюмо. За большим ореховым шкафом, устроенным по размерам этой комнаты и разделявшим ее на две равные половины, помещался длинный липовый стол и около него шесть или восемь таких же чистеньких, некрашенных, липовых табуреточек. Половина этого отделения комнаты была еще раз переделана драпировкой из зеленого коленкора, за которой стояли три кровати, закрытые недорогими, серыми, байковыми одеялами. Здесь была спальня трех небольших девочек, отданных их родными Анне Михайловне для обучения мастерству. Когда Анна Михайловна ввела за собою своего гостя в это зашкафное отделение, на Долинского чрезвычайно благоприятно действовала представившаяся ему картина. Над чистым липовым столом, заваленным кучею тюля, газа, лент и материи, висела огромная медная лампа, освещавшая весь стол. За столом, на

табуретках, сидели четыре очень опрятные, миловидные девушки и три девочки, одетые, как институтки, в одинаковые люстриновые платьица с белыми передниками. В одном конце стола, на легком деревянном кресле с решетчатой деревянной спинкой, сидела небольшая женская фигурка с взбитым хохлом и чертообразными мохрами напереди сетки.

– Это моя помощница, *mademoiselle Alexandrine*, – отрекомендовала Анна Михайловна эту фигурку Долинскому.

*Mademoiselle Alexandrine* тотчас же, очень ловко и с большим достоинством, удостоила Долинского легкого поклона, и так произнесла свое *bonsoir, monsieur*,<sup>8</sup> что Долинский не вообразил себя в Париже только потому, что глаза его в эту минуту остановились на невозможных архитектурных украшениях трех других девушек, очевидно стремившихся, во что бы то ни стало, не только догнать, но и далеко превзойти и хохол, и чертообразность сетки, всегда столь ненавистной русской швее «французенки».

Девочки были острижены в кружок и не могли усвоить себе заманчивой прически; но у одной из них волосенки на лбу были подрезаны и торчали, как у самого благочестивого раскольника. Это пострижение над нею совершила Дора, чтобы освободить молодую русскую франтиху от воска, с помощью которого она старалась выстроить себе французский хохол на остриженной головке. В другом конце стола, против кресла, на котором сидела *mademoiselle Alexandrine*, стояло точно такое же другое пустое кресло. Это было место Доры. Никаких атрибутов старшинства и превосходства не было заметно возле этого места, даже подножная скамейка возле него стояла простая, деревянная, точно такая же скамейка, какие стояли под ногами девушек и учениц. Единственное преимущество этого места заключалось в том, что прямо против него, над черным карнизом драпировки, отделявшей спальню девочек, помещались довольно большие часы в черной деревянной рамке. По этим часам Даша вела рабочий порядок мастерской. Сестра Анны Михайловны не любила высказывать по дверному звонку и торчать в магазине, что, напротив, очень нравилось *mademoiselle Alexandrine*. Поэтому продажей и приемом заказов преимущественно заведывала французенка и сама Анна Михайловна, а Дора сидела за рабочим столом и дирижировала работой и выходила в магазин только в крайних случаях, так сказать, на особенно важные консилиумы. На ее же попечении были и три ученицы. Она не только имела за ними главный общий надзор, но она же наблюдала за тем, чтобы эти оторванные от семьи дети не терпели много от грубости и невежества других женщин, по натуре хотя и не злых, но утративших под ударами чужого невежества всю собственную мягкость. Кроме того, Дора, по воскресеньям и праздничным дням, учила этих девочек грамоте, счислению и рассказывала им, как умела, о боге, о людях, об истории и природе. Девочки боготворили Дарью Михайловну; взрослые мастерицы тоже очень ее любили и доверяли ей все свои тайны, требующие гораздо большего секрета и внимания, чем мистерии иной светской дамы, или тайны тех бесплотных нимф, которые «так непорочны, так умны и так благочестия полны», что как мелкие потоки текут в большую реку, так и они катятся неуклонно в одну великую тайну: добыть себе во что бы то ни стало богатого мужа и роскошно пресыщаться всеми благами жизненного пира, бросая честному труду обглоданную кость и презрительное снисхождение. Из четырех девушек этой мастерской особенным расположением Доры пользовалась Анна Анисимовна. Это была та единственная девушка, у которой надо лбом не было французского хохла. Анне Анисимовне было от роду лет двадцать восемь; она была высокая и довольно полная, но весьма грациозная блондинка, с голубыми, рано померкшими глазами и характерными углами губ, которые, в сочетании с немного выдающимся подбородком, придавали ее лицу выражение твердое, честное и решительное. Анна Анисимовна родилась крепостною девочкою, выучена швейному мастерству на Кузнецком мосту в Москве и отпущена своей молодой барыней на волю. Имея девятнадцать лет, она совсем близко познакомилась с одним

<sup>8</sup> Добрый вечер, сударь (франц.).

молодым, заматавшимся купеческим сыном и месяца через два приняла своего милого в свою маленькую комнатку, которую нанимала неподалеку от магазина, где работала. Три года она работала без отдыха, что называется, не покладая рук, денно и нощно. В эти три года бог дал ей трех детей. Анна Анисимовна кормила и детей, и любовника, и ни на что не жаловалась. Наконец, кончил ее милый курс покаяния, получил радостное известие о смерти самодура-отца и удрал, обещая Анне Анисимовне не забывать ее за хлеб и соль, за любовь верную и за дружбу. О женитьбе, или хотя о чем-нибудь другом посущественнее словесной благодарности, и речи не было. Анна Анисимовна сама тоже не сказала ни о чем подобном ни слова. Приходили с тех пор Анне Анисимовне не раз крутые времена с тремя детьми, и знала Анна Анисимовна, что забывший ее милый живет богато, губернаторов принимает, чуть пару в бане шампанским не поддает, но никогда ни за что она не хотела ему напомнить ни о детях, ни о старом долге. «Сам не помнит, так и не надо; значит, совести нет», – говорила она, и еще сильнее разрывалась над работой, которую и питала, и обогревала детей своей отверженной любви. Просила у Анны Анисимовны одного ее мальчика в сыновья бездетная купеческая семья, обещала сделать его наследником всего своего состояния – Анна Анисимовна не отдала.

– Счастье у своего ребенка отнимаете, – говорили ей девушки.

– Ничего, – отвечала Анна Анисимовна, – зато совести не отниму; не выучу бедных девушек обманывать, да детей своих пускать по миру.

Этой Анне Анисимовне Дорушка оказывала полнейшее уважение и своим примером заставляла других уважать.

Мертвая бледность некогда прекрасного, рано отцветшего лица и крайняя простота наряда этой девушки невольно остановили на себе мимолетное внимание Долинского, когда из противоположных дверей вошла со свечой в руках Дорушка и спросила:

– Правда, хорошо у нас, Нестор Игнатьич?

– Прекрасно, – ответил Долинский.

– Вот там мой трон, или, лучше сказать, мое президентское место; а это все моя республика. Аня, верно, уже познакомила вас с mademoiselle Alexandrine?

Долинский отвечал утвердительно.

– Ну, а я еще познакомлю вас с прочими: это – Полинька: видите, она у нас совсем перфская красна-девица. и если у вас есть хоть одна капля вкуса, то вы в этом должны со мной согласиться; Полинька, нечего, нечего закрываться! Сама очень хорошо знаешь, что ты красавица. Это, – продолжала Дора, – это Оля и Маша, отличающиеся замечательной неразрывностью своей дружбы и потому называемые «симпатичными попугаями» (девушки засмеялись); это все мелкота, пока еще не успевшая ничем отличиться, – сказала она, указывая на маленьких девочек, – а это Анна Анисимовна, которую мы все уважаем и которую советую уважать и вам. Она – самый честный человек, которого я знаю.

Долинский несколько смешался и протянул Анне Анисимовне руку; девушка торопливо положила на стол свою работу и с неловкой застенчивостью подала Долинскому свою исколотую иголкой руку.

– Ну, пойдемте дальше теперь, – позвала Анна Михайловна.

Хозяйка и гость вышли за двери, которыми за минуту вошла Дора, и вслед за ними из мастерской послышался дружный, веселый смех нескольких голосов.

– Ужасные сороки и хохотушки, – проговорила, идя впереди со свечой, Дорушка, – а зато народ все преискренний и пресердечный.

Тотчас за мастерской у Анны Михайловны шел небольшой коридор, в одном конце которого была кухня и черный ход на двор, а в другом две большие, светлые комнаты, которые Анна Михайловна хотела кому-нибудь отдать, чтобы облегчить себе плату за весьма дорогую квартиру. Посредине коридора была дверь, которою входили в ту самую столовую, куда Журавка ввел сумерками к хозяйкам Долинского. Эта комната служила сестрам в одно и то же время

и залой, и гостиной, и столовой. В ней были четыре двери: одна, как сказано, вела в коридор; другая—в одну из комнат, назначенных в наймы, третья в спальню Анны Михайловны, а Четвертая в уютную комнату Доры. Вся квартира была меблирована не роскошно и не бедно, но с большим вкусом и комфортно. Все здесь давало чувствовать, что хозяйки устраивались тут для того, чтобы жить, а не для того, чтобы принимать гостей и заботиться выказываться перед ними с какой-нибудь изящной стороны. Это жильё дышало той спокойной простотой, которая сразу дает себя чувствовать и которую, к сожалению, все реже и реже случается встречать в наше суетливое и суетное время.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.